

# ГРАНИ

GRANI

154

1989

---

Verlagsort: Frankfurt/M., Oktober-Dezember





Журнал основан в 1946 году  
Основатель журнала Е. Р. Романов

Редактировали:

1946 Е. Р. Романов, С. С. Максимов, Б. В. Серафимов

1947 – 1952 Е. Р. Романов

1952 – 1955 Л. Д. Ржевский

1955 – 1961 Е. Р. Романов

1962 – 1982 Н. Б. Тарасова

1982 – 1983 Р. Н. Редлих, Н. Рутыч

1984 – 1986 Г. Н. Владимов

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

---

Год XLIII

№ 154

1989

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Андрес КОЙТ

Морской пейзаж с одинокой фигурой.  
Цветы в ломбарде. Два рассказа 5

Мара ФЕЛЬДМАН

Стихи 61

Игнатий ШЕНФЕЛЬД

Раввин с Горы Кальвария или загадка  
Вольфа Мессинга. Повесть (окончание) 67

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. Н. БЕЛОВ

"Гений и злодейство - вещи несовместные" 108

### ИСТОРИЯ

Анна ШУР

Современная западная историография:  
попытка обобщения 170

## ПУБЛИЦИСТИКА

Герман **АНДРЕЕВ**

**Феномен русской интеллигенции** 204

## ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Роман **РЕДЛИХ**

**В поиске вполне иного**  
(о философии Льва Шестова) 253

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Юрий **Колжер**

**Книга, нужная многим**  
(В. Казак "Энциклопедический словарь  
русской литературы с 1917 года") 277

Виктор **Борисов**

**Что за наследство?**  
(В. Кормер "Наследство") 286

Г. Н. **Горчаков**

**Заметки при чтении**  
(А. Жигулин "Черные камни") 290

Виталий **Евдокимов**

**Обновление ума**  
(о журнале "Выбор") 304

**ПОЗДРАВЛЕНИЕ Е. Р. Романову** 313

**СОДЕРЖАНИЕ с № 151 по № 154** 314

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

Андрес КОЙТ

## Морской пейзаж с одинокой фигурой

Отмель делит реку от моря и уходит вдаль узкой косой. При отливе она вытягивается еще дальше, и река удлинняется вместе с ней до того места, что здесь называют "устья". Однажды сюда забрела лисица. Поселковые мальчишки гурьбой переняли ее бег и выгнали по косе на самую остроконечность. Там ей некуда было податься, и она, замочив лапы, неумело тьякала о пощаде, а может, знак подавала, что добром это не кончится. Так и вышло: начался прилив, и все кинулись назад, но добежать до суха не было часа. Лиса обогнала своих мучителей, но тоже не проскочила: море сомкнулось с рекой, и огненный лисий хвост просигналил беду последний раз, а детские голоса потерялись в зауспокойном крике чаек. Одного потом нашли в устьях, — нерпы у него нос отъели, а остальные так и сгнули без похорон.

Сюда мало кто ходит. Даже пограничники. Они воткнули столб за рыбокомбинатом, написали "Непроезд" — и всё. А жаль. Здесь хорошо. Безлюдье, покой. Коса, что асфальт утрамбована, — не идешь, а несет тебя. Песок — солнце

на небе рисуи, да поярче, чтоб все внутри озарилось, — такой у него оттенок. От множества чаек он еще теплей на вид, потому что белое ладит с желтым, и с серым, и с зеленым, а уж о голубом и говорить нечего — красота! Только мало здесь синевы, все больше серость. Зато воздух свежий до середины прохватывает: вдыхаешь кислород, выдыхаешь мысль, которой родиться тут без помех самый момент; простор — сколько глаз хватает, порядок кругом первоначальный, и прибор шумит специально для тех, у кого нервы сдали.

Нервы у дяди Коли в пределах, а возможно, их у него и вовсе нет. Сюда ходить он не боится, потому что время знает, не в смысле "Скажите, пожалуйста, который час", а просто: когда прилив, когда отлив, когда луна днем, когда ночью. По ночам он тут, конечно, не шляется, — занят, да и днем не всегда, а так, если в делах перебой выпадет. Вот он миновал столб и идет, глядит под ноги, а движение волн по обе руки мешает определить, то ли дядя Коля от поселка уходит, то ли поселок от него уплывает. Он не оборачивается, и ему со спины не видно, какой поселок невзрачный и захудалый, если на него с приволья взглянуть. Он, точно, и вблизи не лучше: на зиму в снег зарывается, как крот в землю, а в другое время стоит обшарпанный, дикий и похож на заброшенную деревню, если бы по трем его улицам не сновали люди, не брехали собаки и не смердело бы тухлой рыбой от тамошнего комбината. О месте своего жительства люди говорят кратко: "Чтоб ему провалиться!", и у кого ни спроси, все вот-вот уедут на материк, в мягкий климат, в культуру с

удобствами, потому, дескать, и не обзаводятся ни машинами, ни обстановкой, ни постройками, — ничем. Да всё как-то не уезжают, мешкают, откладывают вначале с года на год, а там и вообще.

Один дядя Коля не едет. А куда ему? Трудоустроен, на хорошем счету, работой не брезгует, не отнекивается, все у него путем, — чего еще? Начальство им довольно: в отпуск не ходит, компенсаций не клянчит, не болеет, не пьет, просьбами не докучает и трудится круглосуточно: днем плотничает в мастерских по судоремонту, ночью там же контору сторожит. Товарищ Бурлаков ручается, что другого такого, как дядя Коля, поискать: и неграмотный, то есть ничего из секретных документов прочитать не умеет, и безотказный на совесть: вели ему сто лет не отходить от сейфа — не отойдет, а в сейфе ничего секретного сроду не водилось, если не считать питьевого спирта.

Вот только не наш он. Будь он наш, ему бы цены не сложить, но он иностранец. У него и паспорта нет, а есть вид на жительство, поэтому в выборах он не участвует и собраний не посещает, да и все говорят, что, ежели он пропадет ни за копейку, спрос за него еще меньше, чем за чужую печаль. Уж на что профсоюз — дырка, а он и там не состоит. Значит, и пенсия ему выйдет, когда состарится, тридцать рублей в месяц или что-то около того. Пенсия — это что! Он о ней не беспокоится. Ему главное работа. Он так и говорит: "Работа есь — хоросо есь, работа нет — хоросо нет". И с людьми он побалагурить не прочь, да с ним толковать — не очень-то потолкуешь,

особенно про политику. За него и в ведомости другие расписываются, потому что – темнота. Правда, со стороны даже не подумаешь: приличный, аккуратный и стружкой от него березовой навевает, будто после парной с веником.

В поселке его знают. Тут он как дерево в грунте: семья, шестеро детей, – куда ему, хоть от них, хоть с ними? Нет, он здешний, постоянный и очень давнишний. Как занесло его сюда после войны с мигуками, так он и по сей день живет. Мигуки – американцы по-корейски. И он с ними воевал, потому что сам кореец. Вообще-то, никакой он не Коля, это его так в поселке кличут, а настоящее имя у него – Ким Бог Знает Как. У них там все Кимы. Президент тоже Ким, – они его зовут “папа”. Если у них спросить, к примеру, сколько у президента детей, они говорят: “Мы все его дети” и через плечо по привычке озираются.

Лицом дядя Коля, кого ни встретит, весело морщится, точно от сильного света, хотя какая тут погода? – пасмурь, мга и ничего больше. Просто настроение у него всегда одинаковое. Еще он говорит: “Денди есь – хоросо есь, денди нет – хоросо нет”. Можно подумать, что у него деньги не переводятся, но это не так. Лишку у дяди Коли не водилось в помине, – опять же семья, кормить надо. Короче, – неизвестно, отчего он веселый, но, может быть, от характера.

А характер у него такой, что другому и на ум не придет, будто он мог на войне кого не то чтоб убить, а даже оцарапать. Но у него есть медаль за храбрость, и он рассказывал через пятое на десятое словами, осталь-

ное пальцами, как дело было. Самолет сбили, и из него мигук высыпался с парашютом – прямо к ним. Его можно было потом обменять на целый десяток таких, как дядя Коля, но это было неинтересно и мигуку отрезали голову. Сам дядя Коля не резал и даже пальцем не дотронулся, но все кричали "Смерть мигукам!", и дядя Коля кричал изо всех сил, потому что многих за это наградили и его – тоже.

Он не любил мигуков. Папа Ким говорил, что это из-за них в стране мало собак и риса, а скоро и вовсе ничего не останется. Зато, мол, если дядя Коля возьмет верх, досыта будет всем того и другого, а героям пообещал отдельные псарни. Дядя Коля поднатужился и, то ли взял верх, то ли нет, но вместо победы получился мир, и папе нечем стало кормить семейство, хоть расшибись. Тогда папа сказал, чтобы те, кто блажит есть доотвала, ехали в Советский Союз, с которым он договорился, а там всего вдосталь, – что собак, что чего хочешь. Корейцы послушались и поехали. Много-много поехало. Дяде Коле в то время не было и тридцати, а жениться раньше тридцати нельзя, так что он был не только веселый, но и холостой. Подумал он, подумал и контрактовался на полную десятку. И очутился в поселке.

С тех пор больше двух десятков прошло, а он все здесь. На родине о нем никто за годы не почесался; туда сообщили вовремя, что его нет в живых – и дело с концом. Если бы теперь папа Ким спросил: "Где мой кадр? Где дядя Коля? Что он подделывает? Ну-ка предоставьте его, как договорено", ему бы ответили, что никакого дяди Коли мы знать не знаем, что

дядя Коля скончался на первом еще году от обжорства и не только скончался или похоронен, но даже сгнить успел - вот как. Что тут придумаешь? Кто врет с утра, тому полагается врать до вечера.

А он не скончался. Он идет по косе и чаек ему на пути попадаетея все больше и больше. Им не нравится, что дядя Коля сюда пришел. Они ему, конечно, уступают, но с таким трезвоном, - хоть уши затыкай, а он, знай свое, идет, пока не останавливается, будто споткнувшись. Потому что прямо перед ним валяется на песке большая рыбина и сонно поводит жабрами. Это кижуч. Царская рыба кижуч, не рыба, а загляденье: чешуя серебром льется, плавники радугой играют, хвост от русалки, да любоваться некогда, так как гибнет она и, ни у кого не спросясь, еле дышит.

Дядя Коля влезает пятерней в жаберную пройму и волоком тащит рыбу к воде; весу в ней полтора пуда, и на руки пусть ее те берут, кого после тройной ухи особливая жалость к природе одолевает. Подгадав промежуток между вздохами водяного царя, дядя Коля бросает кижуча и бегом бежит от прибоя, а затем следит издали, как рыба, несколько раз перекатившись, приходит в себя, как она в воде устаивается и как ползет по-змеиному вдоль косы ко речному гирлу. Беременная самка это. Самцы, те поглубже идут, а у этих брюхо зудит от икры, и они скребутся, ко дну прижимаясь. Здесь их отлив и прихватывает птицам на потраву.

Если взять ножик поострей и полоснуть такую рыбу по брюшине, из нее сразу же бесплатно вывалится до двух килограммов крас-

ной икры, той самой, которая деликатес. Икра помещается в двух чулках из прозрачной пленки, с виду целлофановых. Брать пленку в рот — ни-ни. У командора Беринга кто-то, говорят, из команды в здешних местах на тот свет убыл по неопытности. Сперва икру продавливают сквозь сито с подходящими ячейками, чтобы пленка осталась, а зернь проскочила. Потом еще раз. Потом дважды моют на скорую руку и заливают соленым раствором. Минут через двадцать, от силы — полчаса, образуется всем известное по картинкам яство, каким нынче питаются, дай Бог здоровья, правительство, космонавты и за рубежом.

Икру дядя Коля, конечно, употребляет за мое почтение, но на косье у него напрочь отшибает аппетит, как у повара, когда тот, в кухне стряпая, нанюхается всякой всячины. Вдобавок у него еще и вкус извращенный: он считает, будто красивая женщина та, что на сносях, и ничем его не разубедишь. А насчет кижучей он может подробно рассказать, даром что слов у него, если сотня наберется, то хорошо.

Для начала он одной рукой показывает на рыбу, другой чешет живот и быстро-быстро лопочет по-корейски. Это понятно. Потом он круглым жестом захватывает подмышку море до самых устьев и, поочередно ткнув перстом в рыбу и себе в рот, начинает двигать челюстями, точно жерновами, и зубы у него скрипят, будто гвозди перетирают. Резко оборотившись к реке, он вдруг прекращает жвачку, запечатывает рот ладонью и убедительно мычит, показывая, что в пресной воде кижуч перестает есть. Затем его кривой грязноватый

палец чертит линию вдоль по реке, за поселок и выше, и круто забирает в тундру. При этом дядя Коля привстает на цыпочки: рука наотмашь, пальцы растопырены и любому ясно, что за поселком рыбы свернут в протоки, каждая в свою, и разбредутся по рукавам, каждая в свой, а рукавов этих побольше, чем у него пальцев, когда он аплодирует. Перекаты там вовсе гиблые, воды местами по дядиколину щиколотку и рыбе плыть по такой воде — уфф! Он таращит глаза, пыхтит, работает локтями и делает вид, что задыхается. Лицо у него вытянуто, скулы пропали, и он почему-то похож на европейца, а не на рыбу, что ползет по камням, наполовину из воды высунясь.

Наконец трудности перебороты, и рыба входит в ту заводь, где сама когда-то из икринки проклюнулась. Отдохнув и поднакопившись, она затевает свадьбу. Что творится! Вода в заводи, как в котле. Дим-дади-дум-дум! дим-дади-дум!.. Манипуляциями, ужимками, прыжками и телодвижениями дядя Коля показывает, как это скопище пляшет, бесится и трется друг о друга. Потерев ожесточенно руками, он сначала пристраивает ладонь к собственной заднице и отмахивает ею наподобие плавника, а после этого перемещает руки на срамное место и воображает себя писающим вкруговую с разбрызгом. Это вот что означает: женщины мечут икру, мужчины поливают ее молоком. А дальше... дальше дядя Коля закрывает глаза, безвольно роняет руки, сгибает колени и едва не валится замертво, как рыба, которая подыхает тут же после свадьбы. Если ему не поверить, он достанет нож, порежет мякоть у запястья и, вновь приладив ладонь

вместо хвоста, начнет помахивать ею и кропить землю кровью, чтобы всем воочию было, как рыба, выметав икру, истекает до капли... Такой он краснобай, дядя Коля.

Он спугивает на ходу скандальных чаек и угадывает, что впереди еще одна такая же русалка, — больно уж птиц там собралось, песка не видать. Птицы кижуча раньше срока не тронут. Они знают: вот эта блестящая туча так может хвостом огреть, что кишки вон, и инстинктом ждут, когда рыба заснет наверняка. А дядя Коля вмешивается, и они громко бастуют, взмывая над ним, как пух из разорванной перины.

Чаек дядя Коля тоже едал, но они жесткие и вонючие и их надо сутками в уксусе вымачивать. Впрочем, это давно было, когда он только-только в поселок приехал.

Их привезли по большой воде на пяти кунгасах, крытых брезентом. Люди подумали, что уголь на зиму, а оттуда корейцы выскочили за малым не триста душ и как один — мужики. То-то было радости, то-то волнений! Поселок позабытый, население — почти одно бабье с рыбокомбината, не жили, а рассказывают, куски сшибали: хоть встречный, хоть заразный, хоть кто, лишь бы в штанах, и вдруг — нате вам, бабоньки. Мигом разговелись, за неделю замуж повыходили безо всяких формальностей, за год детей понарожали, немного, верно, раскосых, но шалых, светлоглазых и, главное, крепких. Тогда же подметили, что свальный блуд в поселке сошел на нет, остался один только любительский, а выручка от продажи алкоголя против прежнего оставила желать хоть бы какого-нито выполнения.

Гуртовые загулы, конечно, происходили, но уже либо по годовым праздникам, либо невзначай, как с кепом Манько, хотя случай этот совсем особый. Тогда зима была, штормило крепко, и из шести колхозных сейнеров пять, заколодев ото льда, сыграли на море "оверкиль" вместе с командами. Один лишь Манько привел свой айсберг в устья и сел на мель, откуда его и сняли, подпорченного умом. Его бы сразу в желтый дом на перекладных спровадили, но народ не дал, пока кеп не пропил сберкнижку с геройской звездочкой и не осточертел своей сумасшедшей песней: "Сидор прянет, рыба вянет, Черное море - корыто". Хотя, приключилось это уже после приезда дяди Коли и к делу относится не сказать, мимоходом, но, в любом случае, наперед.

Сначала корейцев разместили в черных бараках для сезонников, и они за несколько дней переели почти всех поселковых трезоров. К ним сразу же прискакал митинговать Зуёк из райпушнины. Он ходил по баракам, тряс для вразумления собачьим хвостом и призывал: "Шкуры отдайте, гады. Отдайте шкуры", а корейцы отрыгивали псиной и что-то дружелюбно бормотали: не то собаки голые по улицам бегали, не то они их, обрив, скушали со шкурой. Так он от них ничего и не добился, Зуёк. Впоследствии они перешли на рыбу и на свинину, которая там всё одно, что и рыба, поскольку свиней рыбой откармливают, а собаки вновь расплодились и, не помня зла, якшались с корейцами без дискриминации. Однако и данный факт из жизни животных помянут загодя, потому что раньше все-таки состоялась коллективная женитьба.

Их разбирали поштучно. Приходила немуж-  
няя молодуха, обсматривалась улыбисто, пере-  
бирала, как на базаре, манила рукой, — по-  
шли, мол, — и вся недолга. Дядю Колю выбра-  
ла Натаха комолая, но его у нее отбила Клан-  
ня-лярва. Дядя Коля уже совсем было собрался  
с Натахой, но Кланя закричала: "Эй, ходя! С  
кем идешь — ты! Глянь лучше, какие у меня  
ноги красивые!" и заголилась. Дядя Коля гля-  
нул, а ноги под Кланей оказались, действи-  
тельно, ничего себе, да и лицо не корявое,  
так что участь его решилась в один погляд.  
Все смеялись и корейским хором орали ему с  
Кланей вдогонку здравицу, очень похожую на  
"Гоп, гоп, до того!"

Натаха и сама без мужа не осталась, дру-  
гого взяла, не хуже дяди Коли: что непьющий,  
что понятливый, что работающий. Он даже сам к  
ней напросился, когда она от обиды расплака-  
лась: подошел, за руку тронул и на себя  
показал, а она ему засмеялась сквозь слезы.  
Им тоже "Гоп, гоп" кричали, еще громче, чем  
лярве с дядей Колей. Натаха своего потом  
жалела, как ни одного мужика, и ходил он у  
нее обстиранный, гладкий, да с таким еще под  
ручку гонором, что в самом деле подумаешь  
— любовь. Жили они душа в душу, и Натаха  
отблагодарила его четырьмя детьми.

Что до Клани, то у нее раньше этого было  
двое: один от главного инженера, другой от  
райкомовского инструктора, и замуж ей надо  
было ужас как срочно. Вот она и разжилась  
дядей Колей, хотя привычку свежака хватать  
так и не бросила, до самого конца гуляла. Дядя  
Коля смотрел на ее проделки сквозь пальцы и  
всех детей без разбору отгребал к себе, не

заботясь, кто от кого, потому что в замужестве Кланя третьего родила от заезжего судомеханика, двух близнецов от дяди Коли, а шестого – девочку – страшно подумать – от мигука. Дядя Коля вынырнул эту американочку в конторе по ночам с такой кротостью и терпением, словно знал о жизни нечто более значительное, чем все кланины шашни, но был бессилён рассказать об этом в своей колыбельной:

”Сипи, сипи, д’оси,  
Сипи, сипи, Нади,  
Твоя папа – хоросо,  
Твоя мама – бряди”.

Может, оно бы ничего и не стряслось, если б не обстоятельства. Под осень, на шестом уже году дядиколиного семейного счастья, у рыбокомбината со стороны реки ошвартовался американский сухогруз, который велено было с походом набить икрой и отпустить по добру по здорову. Невзирая, что команде запретили сходить на берег и разрешили в полприщура поглядывать с борта на заграждения с охраной, всех корейцев подчистую согнали опять в те же бараки и держали взаперти, пока судно грузилось. В такой-то вечер лярва и прошмыгнула на корабль. Мужики дивились: чёрт её душу знает, как ей это удалось, а баб интересовало другое: когда она успевала и дяде Коле передачи носить, и того-этого. Доллары у нее, понятно, изъяли в пользу мира и допросили со всей строгостью, но Кланя уже хлопала себя по животу и шумела, что у нее теперь сам Эйзенхауэр в кумовья повёрстан, что она алименты через НАТО стребует, если

захочет, и так далее. Ей резонили, резонили, да ее разве переспоришь? С тем и выпустили.

Кстати, с этим сухогрузом крупные нелады вышли. Грузчиков подбирали по партийному признаку, но среди простонародья таких было мало, пришлось комсомол подключать. В общем, сколотили бригаду с бору по сосенке. А чтоб не осрамиться, выдали грузчикам костюмы из шевиота через рыбкооп и штиблеты на скрипучем ходу, так что попервах они выглядели дипломатами, затем — бродягами и уголовниками, а когда пришел американцу час якоря вздымать, это уже была шарага оборванцев, на которых стыдно было глядеть: чужие матросы тюкали на них пальцами и подышали со смеху. Тогда же и дядю Колю освободили, но было уже поздно. А стоимость костюмов и обуви у грузчиков вычли из зарплаты. Правда, не у всех; много было и таких, что отвертелись.

Не успел дядя Коля домой воротиться и не успел сухогруз из устьев к рейду выволочься, как на буксире лопнул трос. Старший моторист Лагерёв знаками попросил у американцев конец, и они кинули ему линь, на каком хозяйки белье сушить вешают. Лагерев заругался и спихнул его в воду. Американцы выбрали и кинули вторично, показав жестами: крепи, давай, без разговоров. Тот, матерясь, закрепил шпагатину и дал "вперед помалу". Шпагат выдержал. Лагерев прибавил оборотов. Шнурок звенел струной, но не рвался. Тогда на буксире придавили всю и вытянули сухогруз на рейд, словно он там и был. Капроновый линь американцы Лагереву на память подарили, и он свистнул при всех: "Вот так веревка! Крепче, чем советская власть на Кам-

чатке!”, увязав оба происшествия воедино, потому что, когда у грузчиков удерживали из полочки за костюмы, Лагерева с треском вышибли из рядов и перевели из старших мотористов в разнорабочие. Только он не дурак; через год опять вступил и в должности восстановился, зарекшись до смерти говорить вслух то, о чем думается. А у дяди Коли на ту пору выдался единственный длинный выходной, будь он неладен, с прибавкой в семье.

Стащив к морю еще трех кижучей, дядя Коля переводит дух. Оно бы, конечно, сподручней в реку бросить, но нельзя: рыба без памяти — всё равно что больная; ей весь расчет в сознание приходит там, где была, а от резкой перемены стихий она не проснется, а очень просто уснуть может животом вверх. Живую рыбу от мертвой он по зраку отличает, но не так, как об этом рассусоливают штатные защитники природы: лежит, дескать, рыба и до того выразительно на тебя смотрит, до того ртом плачевно кривится, как только не скажет “Помоги, товарищ”. Он знает, что взгляд у рыбы безликий и холодный, как рыба кровь, только и того, что есть в нем какая-то искра, пока она живая, а как умрет, искра потухнет и глаз у нее делается точь-в-точь обкатанная морем склянка. И живет она, пока у нее воздушные мешки доотказа не разопрет, как утопленнику легкие. Всю подноготную о рыбах знает, — не зря провел с ними целый отпуск.

В отпуске он был тоже единственный раз и не милостью месткома, а оказией, когда сроки договора истекли и папа Ким приказал корейцам возвращаться на родину. Тогда в поселок под вечер опять пригнали кунгасы, а на них

взвод солдат с пограничным нарядом. На следующий день с утра вой на берегу стоял дыбом; страшней, чем когда мужиков на войну в сорок первом забирали. Оно и понятно: там хоть какая-то надежда была на "авось", а тут уже ничего не было, совсем ничего. Заводилой среди баб с детьми выбилась Натаха комолая, что ни есть смиренная и незлобивая в поселке. Своего корейца она отпевала чистым, тонким и таким летучим голосом, что по всему поселку было слышать.

"Ох, комилец ты мой родненький,  
Голубочек ты мой ласковый,  
На кого ж ты меня покидаешь?  
На кого оставляешь деточек,  
Малолеточков своих пташечек,  
По белусвету сиротами рость?  
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а!"

Бабы заходились разом без уговора: "Ах-ха-ха-ха-ха-а-а-а!!!" Дети тоже наддавали до звона в ушах. Да и корейцы с кунгасов не помалкивали: кто скулил, как недобитый, кто лаялся, кто что. Одни только солдаты стояли стенкой, вроде неживые: глядят поверх, воды в рот набравши, разве что "Не положено" скажут, когда толпа наплет, и от рук у них земляничным мылом отдавало, а от автоматов - новой мебелью. Из-за солдатской стены два офицера и уполномоченный в штатском наблюдали. Курили, водили носами, Натаху слушая, переговаривались. Несознательный, мол, у нас народ, бестолковый. С таким народом хлопот не оберешься, хоть ты их агитируй, хоть нет. Им лишь раз дай, а в другой раз сами

возьмут. Ишь, стерва, выводит. Почище, чем в операх.

”Да какá вражина лютая  
На мое счастье позарилась,  
Счастье бедное, незавидное,  
Кусок хлеба да покой в дому?  
И какá змея подколодная  
Разорила гнездо малое,  
Разодрала душу надвое,  
Из груди сердце повынула,  
На посмешку людям кинула?  
Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-а-а-а!”

Но в общем, все обошлось без последствий. Собрали корейцев за минусом померших, погрузили в кунгасы и отправили на пароход, а потом на родину, как договаривались. Двое в устьях вспороли бритвой брезент и - в воду. Одного выловили, а другого отминусовали. Вода - что в реке, что в море - выше плюс четырех не бывает даже летом; в такой купели долго не поплаваешь, раз-два - и зачоченел. Конечно, кому охота к синие по карточкам заново приноравливаться? Вот они и цеплялись за баб, за детишек, за то, за сё. Да и бабы не лучше. Не расписались, посходились, наплодили детей незаконных, а потом кто-то им виноват. Сказано "нельзя", значит нельзя, а захотели по-своему, - пусть не обижаются.

Дядя Коля не стал ждать, пока за ним явятся. Едва пригнали порожние кунгасы и внутренние войска, он переправился ночью по реке на тот берег и дал стрекача в тундру, - без вещей, без продуктов, как был. Думали, - пропадет, а он, недели три перегода, вернулся жи-

вой, невредимый и ничуть не худой. О своем дезертирстве он поведал в обычной для него манере: "Риба есь - хоросо, риба нет - хоросо нет". Как раз кижуч нереститься шел сплошняком, так он сидел где-то у заводи на перека-те, резал беременных самок и пригоршнями жрал икру, допреж вымочив ее в проточной воде. Ему не было там холодно и он не бегал до ветру, потому что икра не просто усваивалась, а словно бы сгорала внутри ровным пламенем и не давала отходов: за три недели он столько же раз, почитай, и штаны сымал. На первых порах его донимали от этого разные страхи, но вскоре он понял и успокоился. Он бы и дольше сидел, но "риба" сошла, а помимо нее в тундре ничего больше не было, и дядя Коля побрел в поселок.

Его и еще троих таких же хитроглазых вызвал к себе уполномоченный в штатском, от-материл как следует и сказал, что все они померли согласно отчетности, а это значит, сидеть им теперь в поселке, писем на родину не писать и дальше района не рыпаться, чтоб не засекали. А дядя Коля и не думал рыпаться; взял свой "вид" и продолжал жить так же бесподданно, как до этого жил. Во время переписи его зачислили в коряки, и он не возражал. Только раз еще его побеспокоил тот же уполномоченный, - это когда с китайцами большие свары у нас были на границе.

В те дни по поселку пронесся слух, будто не сегодня-завтра китайцы отымут у нас Дальний Восток и отдадут Камчатку корейцам, а здешние, мол, поселковые всё уже поделили промеж собой и будут управлять. Дяде Коле, как самому отсталому, достались острова, и

он их, наверное, продаст не-за-дорого, потому что власть из него — смех один, никто подчиняться не станет. С ним после того долго еще здоровались и обязательно спрашивали: "Ну как, дядя Коля, острова еще целые? не продал?"

По этой причине дезертиров опять позвали к уполномоченному. Тот громко сердился, заряжал-разряжал пистолет, советовал одуматься на месте и признаться по-хорошему, а затем расстелил карту и потребовал, чтобы дядя Коля показал ему свои новые владения. Дядя Коля по неразвитости не мог сообразить, в чем дело, пока ему земляки не растолковали, в чем. Тогда он сказал уполномоченному: "Турак есь — хоросо нет", а уполномоченный ему за это сперва в зубы кулаком въехал, а потом выгнал и дядю Колю, и всех.

Всё это не иначе как со скуки. Если должность ответственная, а дела нет, надо придумывать, — вот и получается. И с уполномоченным получилось. Да и то сказать: после отъезда корейцев до того стало в поселке муторно, что если б не разгул с пьянкой, вовсе было бы невыносимо. И пошла жизнь отмечаться, как прежде, не годами, а событиями: то привезли корейцев, то увезли, то Фролин-бригадир семью топором вырубил и сам зарубился, то летом кит самоубийство совершил, на берег кинувшись, то зимой сейнер туда же вынесло и весь экипаж перемерз, больше двадцати душ, а локатор, сволочь, показывал до земли полтора километра... А то еще случай был тоже памятный: цунами шел с волной двадцать пять в вышину, а в поселке всего один дом из бетона более-менее. Все, ясно, — к нему. Стук-постук, а там начальство спасает-

ся, вертолета ждет от вышестоящих, и милиция даже по партбилетам не каждого пропускает. Хорошо, что волна о дядиколины острова расшиблась и измельчала, да вдобавок ее отливом подсекло и в горочку распластало, так что больше получилось пользы, чем вреда: окатило поселок, точно половодьем, и всю пакость, какая за годы набралась, одним махом в реку сбросило вместе с курами и мелкой живностью. Такой вышел субботник, что хоть березки высаживай, если б они тут расти могли. А вертолет, между прочим, от вышестоящих так и не прилетел. Товарищ Геласимов, себя жалеючи, плакал в нетрезвом виде и говорил: "Этого надо было ожидать..."

Дядя Коля стоит, понурясь, и смотрит на рыбу. Эта уже - всё. Никуда не поплывет и на свадьбе на рыбьей уже ей не гулять. Зрачок у нее потух, и чайки почуяли, что пора, - совсем вблизи сгучились. Он их разогнал, а сам теперь скорбит и, похоже, молится рыбе, потому что - нехристь, язычник. Передать его молитву слово в слово никак нельзя, а ежели по голосу, то он, должно быть, извиняется перед рыбой, что не успел вызволить, рассказывает ей о своем житье, чтобы задобрить, благодарит за икру, которую он у нее сейчас возьмет, утешает ее, мертвую, что она не напрасно век прожила, и обещает наведываться сюда, если жив будет.

Он достает складной нож, опускается на корточки, подваживает кижуча на колено и, прободав жалом, вспарывает по брюху от головы к хвосту. Рыбье сердце уже перестало качать, поэтому кровь не брызжет росно на руки, а еле-еле пачкает острие и нехотя каплет

вниз. Из прорехи в пластиковый мешок вываливается икра в родимой плеве, и он, обтерев лезвие о штанину, хоронит ее от рыбнадзора под фуфайку. Вот и всё. Но прежде чем отвернуться, он произносит еще несколько языческих сакраменталий, кратких, как ругань, и негромких, как заповедь.

Пройдя косу до конца, он долго стоит, печальный и задумчивый, точно перед дальней дорогой, и ноздри у него подрагивают от иодистой свежести моря, и глаза жмурятся больше обычного. Отсюда до устьев рукой подать, и ему видно, как там нерпы резвятся. Когда в устьях встанет рейсовый лайнер, нерпы вокруг него собираются музыку послушать и слушают, выставив пассажирам напоказ умные свои морды. Но сейчас парохода нет, и стая нерп маячит, как поплавки, неподалеку.

На них поохотиться приходил сюда раз Димка Климов из судосборной. Опричь ружья, он взял транзисторный кассетник для приманки и мечтал наколотить штуки три-четыре под вальсок, а музыкой его снабдила врачиха Люська Шелгунова, — он с ней гулял. На одной кассете, он говорит, было написано: Калининков. Он, конечно, устроился, ружье подладил наизготовку и пустил этого Калининкова. Нерпы почему-то не подплывали, и Димка, незаметно для себя, принялся чёрт знает куда глядеть и чёрт знает о чем думать, — одну лишь эту пленку и прокручивал, а про охоту забыл. И часы у него, как назло, стали. Так что, когда он опомнился и горизонтом поинтересовался, его кучерявая прическа распрямилась и встала торчмя, а шапка наземь полетела. Он ее не стал подбирать, а тут же дал

тягу, бросив магнитофон, ружье и дубленку, чтоб резвей бежать было. Прилив догнал и схватил его за пятки близ пограничного столба, но он кой-как вырвался. Люську он, чудака-человек, тоже из-за этого бросил, что-де она это нарочно ему подстроила. Но самое чудное то, что он пить перестал, пристрастившись к симфониям, — его от них теперь за уши не оттянешь.

Дядя Коля здорово рассказывает, как Димка драг отсюда во все лопатки. Вообще, он мастер рассказывать, и слушать его — развлечение, только здешний народ не очень-то удивишь. Рассказывай им, не рассказывай — всё одно говорят: "Бывает". Двое комбинатских дихлорэтана вместо водки хлебнули и сгорели насмерть, — бывает. Директор школы с ученицами живет с молоденькими, — бывает. Уёк сутками подряд на нерест шел вдоль побережья и гирло так заткнул, что ни одна посудина не могла к рыбоприему пробиться, — бывает. Рыбу ловили, ловили, да потом тоннами в море же и вышвырнули дохлую, — бывает. Здесь всё бывает.

Только об одном случае так не говорят, потому что случая такого никогда прежде не было и неизвестно, будет ли. Зайцы на поселок напали, — еще до цунами. Тьма тьмущая зайцев. Видимо-невидимо. Откуда из столько набралось, — наверное, со всей тундры. Среди бела дня они тучей прошли по улицам и дворам, и никто им не помешал. Собаки притаились и нишкнули. Люди, объятые жутью, позакрывались, где попало: дома, так дома, на работе, так на работе. Никакого ущерба зайцы не причинили, только землю пометом обгадили.

Они вышли к лукоморью, с быстротой саранчи сожрали завалы морских водорослей и удалились восвояси, предоставив жителям даваться диву, сколько влезет. Этот случай дядя Коля отлично помнит, но не умеет его объяснить.

В поселок он возвращается так же не торопясь, как пришел. Когда он добирается до места, где оставил мертвого кижуча, там уже ничего нет, — одни кости да чешуйчатая шелуха. До ближайшего прилива...

1980 г.

## Цветы в ломбарде

Отец и сын так были похожи друг на друга, что любой мог бы уличить их в кровном родстве. Лица у обоих были совсем русские, и хотя у всех почти хорезмийцев склад лица сродни нашему, эти двое имели на то особый резон. Отец, усто Матрасул, насчитывал в пятом колене родовой номенклатуры весьма подозрительного ибн-Пантелея, который портил весь правоверный ансамбль и внушал потомству чувство национальной неполноценности. Мало сказать "портил"; этот тип вообще за собой никаких предков не оставил, ни инб-Федота, ни ибн-Миколы, а это обидно. И все же, признаться без обиды, в этом пра-пра-как-его определенно угадывался скопской беглец, перебравшийся в Хорезм и служивший Мадамин-хану в качестве топчи, то-бишь пушкаря. Здесь он пустил корни и дал густую

поросль, но веры, видать, не переменил, иначе зваться бы ему по-другому, а его, хочешь — не хочешь, на годовых мечетных намазах приходилось поминать как он есть: ибн-Пантелей.

Невзирая на свойство с нами, усто Матрасул по-русски ни бельмеса не знал, кроме матерной ругани, армейских команд и еще двух слов: "Зыдраста" и "Паджалиста", хотя и в войне участвовал и был отмечен тремя медалями и осколком в легких. Его сын, Шарипджан, знал из русского больше, но он ходил иногда в школу, а их там натаскивают. Они вместе стучали в кузнице, и Шарипджан был уже не подручным "подай-принеси", а добрым молотобойцем с пониманием ремесла. Тогда-то его и женили.

Этот второй по важности факт в жизни Шарипджана произошел как бы в его отсутствие, потому что никто с ним особо не церемонился. Его даже не спросили, хочет он или не хочет, просто отец решил, что семнадцать лет — пора, хватит старой Хуршиде штаны парню застирывать. Отец давно уже прицеливался, глядя, как он молотом отмахивает, как держит и как поспевающий в горне металл плющится под тяжкими ударами сына, будто лепешка хлебная. Тогда в глазах усто Матрасула замечался посторонний интерес со строгой оценкой.

— Заморился? — спрашивал он с любопытством чужого дяди.

— Нет, — улыбался Шарипджан. Ему не нравилось, что отец от него так отстранился, и он даже подумал: остался бы усто Матрасул таким же ласковым и терпеливым, как раньше, а Шарипджан за это бросит школу и станет всю жизнь ему помогать. Но кузнец не смяг-

чался и добрей не делался, а вновь спрашивал сына, словно убедить его хотел в том, чего в помине не было:

- Устал, говорю.

- Да нет же, - уверял сын отца. Это правда, он не уставал. Он вообще не представлял, как можно уставать. Горн, раздутый мехами, солнечно светился, плечи у Шарипджана белели от проступившей соли, как железо в заморозки, а усталость не приходила, и усто Матрасулу пришлось поверить.

- Ничего, - сказал он. - Женишься, будешь уставать.

- Я не хочу, - ответил Шарипджан, когда они сели обедать, а чтобы отцу было понятней, что речь не об усталости, добавил: - Жениться не хочу.

Кузнец промолчал, но назавтра одел новый чапан, закрутил чалму и отправился на ишаке в соседний кишлак, вернувшись домой затемно. Для чего он туда ездил, Шарипджан не спрашивал, потому что задавать старшему вопросы неприлично, но догадывался по разговорам, а разговоры у отца пошли странные.

- Женишься, - сказал он, как бы продолжая, - будешь уставать. Не научишься уставать - не узнаешь отдыха. А что за жизнь без отдыха, ну? Разве я тебя безделью учу?

- А я вам разве плохой помощник? - спросил Шарипджан. Такой вопрос был уместен.

- Не то, - отмахнулся усто Матрасул и прочитал целое наставление. Оно показалось Шарипджану долгим и нудным, и он его усвоил не сразу, а со временем, когда слова стали сбываться так же, как если бы их изрек прозорливец. А сказал отец много чего: что

кетменя без железа не сделаешь; что покоя без тревоги не бывает; что плов хорош только вечером; что к достатку без нужды не приходят; что радость лишь тогда радость, когда беду своей рукой отвел, и что, если человека вовремя не женить, он разбалуется. В общем, говорил, говорил и под конец спросил:

- А какое счастье бывает, знаешь?

- Жизнь за родину отдать, - ответил Шарипджан, как в школе учил.

Отец отставил пиалу с чаем, посмотрел на парня и, крепко смазав его по шее, сам же расплакался. Он сидел и враскачку плакал, и лицо у него от слез стало грязным и старым, вроде ему было не пятьдесят, а сто, и слова из него выходили, будто он втихомолку жаловался кому-то третьему.

- Как же так, а ? Ничего не понимаю. Меня на войне сколько раз убить могли - нет, не убили. Я, глупый человек, думал: вот счастье - жив остался. А сын говорит - несчастье. Мой сын, который от меня. Лучше бы мне пропасть, чтоб он был счастлив. Как сирота. Как много сирот. Счастливые! У них нет отцов, а у моего есть. Какое горе! Какая напасть! Жизнь ничего не стоит, а смерть - счастье, это что ж делается?

- Отец, - взмолился Шарипджан. - Я же не про вас, а про себя.

- Бог! - продолжал усто Матрасул, как ни в чем не бывало. - Ты, не позволивший Ибрагиму зарезать Исмаила, ты слышишь? Он меня утешил. Спасибо. Он меня облегчил, чтоб мне оглохнуть. Он меня успокоил. Женится и повесится. Наплодит детей и утопится. И сам счастлив будет, и других осчастливит. За ро-

дину, говорит. Бесноватый! Моя семья - вот моя родина. Мои дети - вот моя родина. Когда ж это было, чтоб я лег спать, их на ночь не сосчитав? Ни разу. Пересчитаю, потом сплю. И во сне счастье вижу, что все целые, все десять.

Шарипджан корчился от страданий, словно ему печень по кусочку отщипывали. Он уже готов был зареветь, как вдруг отец отер слезы и, сделавшись еще грязней, заорал:

- Какой враг вбил тебе в башку эту пакость? Думаешь, не знаю? Знаю! Все знаю!

Похоже было, что усто Матрасул действительно знает все. Заикаясь и немея от жалости, Шарипджан повинился перед отцом, просил у него прощения за обиду и обещал все сделать по его слову. И проговорил, оправдываясь:

- Только ведь я ее никогда не видел.

- Ничего, - обнадежил отец. - Я видел. Не калека. Очень достойная девица. Стал бы я, что ли, торговаться заглазно? Очень, очень достойная.

Он умылся над бочкой и погладил сына по щеке прохладной ладонью. - Сынок, - сказал он и опять стал близким. - Я тебя не сильно зашиб?

Шея у Шарипджана побаливала, но он пожалел отца и ответил "нет". Отец благодарно ему кивнул и сообщил, как по секрету:

- Не дорого. Пятнадцать тысяч рублей и пять баранов. Очень достойная девица. - И резко отстранясь, заявил: - А в школу больше не пойдешь. Будет с тебя семи. Научился!

Школа - пусть. Школы ему не жаль. Его беспокоило, какую невесту сосватали. Дело давнее: деньги были дешевы, спички дороги, а пять баранов, даже очень упитанных, это всего

лишь курдюки и ничего кроме, а отец мог попросту сплеховать. Оттого Шарипджан и вознамерился увидеть суженую раньше, чем ее к нему приведут с пожеланиями плодиться и размножаться. От матери он без труда выведал все, что надо, и укатил на велосипеде туда же, куда отец на ишаке ездил. Женщины ходили уже в открытую, но их лица еще сохраняли очарование тайны, и мужчины не ели встречных красоток поедом, а отворачивались. Это сейчас даже очень красивая девушка вызывает не больше чувств, чем козлодрание или цирковой трюк, а прежде – Шарипджан помнит! – женское лицо возбуждало мужчин так же, как нагота.

День показался ему сшитым по мерке, как сапоги на заказ, и Шарипджан считал его впоследствии самым лучшим в жизни, – то ли по удаче, то ли по настроению, то ли потому, что добрых людей оказалось больше, чем он предполагал, и вели они себя так, как ему хотелось. Он спрятал велосипед в зарослях верблюдки, а сам пошел в чужой кишлак и опять же очень быстро все разузнал. Как отрадно все-таки, что при интересных затруднениях обязательно отыщутся хорошие люди и толком объяснят, где кто находится, кто во что одет, какие у кого приметы. Она была на поле, и он узнал ее по платью: яркий букет с пунцовыми, желтыми и сиреневыми цветами порхал по зелени хлопчатника и пересмеивался с другими букетами. Он отбил ее от подружек и погнал, куда придется, ничего не замечая, кроме пучка черных косиц, за которые способно было бы ухватиться, а она не вскрикнула, не позвала на помощь, – просто побежала. Они добежали до рослых кустов и, точно сговорившись, при-

гнулись, чтобы не мозолить глаза добрым людям, которые дружно глядели в обратную сторону и делали вид, что на поле ничего не происходит.

Молодые засели в хлопчатнике порознь и перекликались, как перепела. Жених окликнул невесту по имени, и та сразу же ответила "ой". Шарипджан понял, что это не испуг, а отклик "я здесь", и порадовался своей сообразительности. Но времени было в обрез, и он выпалил сразу, пренебрегши традиционным языком деликатных намеков:

- Меня хотят на вас женить.

- Я не виновата, - отозвалась невеста чуть слышно.

- А я не хочу, - продолжал жених.

- Так не женитесь, - посоветовала она, и в голосе у нее прорезалась усмешка.

- Легко вам говорить "не женитесь", а они уже на задатке сладили. - Кто такие "они", Шарипджан объяснять не стал.

- А я при чем? - сердито спросил дальний куст. ("Только что улыбалась, - подумал Шарипджан, - и уже злится".) - Я, что ли, себя продаю для вас нарочно? - ("Моложе меня, а спорит".) - Проваливайте отсюда. Забирайте свой выкуп. - ("Да еще упрямая!") - Если отец отдаст. - ("И насмешница вдобавок. Что ж мне с ней делать?") - Я некрасивая. Самая некрасивая в кишлаке. Хуже меня нет, так и знайте.

- Хочу посмотреть, - сказал Шарипджан.

- Зачем? - поинтересовались кусты справа.

- Если правда, я не женюсь.

- Бедненький! Как же вы будете?

- Не знаю. Может, убегу.

Слева из кустов по нему стрельнули карточным смехом:

- Куда?

Он растерялся. В самом деле, куда? Кому он нужен? Кто его захочет? Он помолчал и сказал упрямо:

- Все равно. Хочу видеть.

- Нельзя, - ответила она. - Люди кругом. - В голосе у нее не было уверенности, и он догадался, что ей так же охота на него взглянуть, как и ему на нее. Это прибавило ему духу.

- Пока не увижу, не уйду, - пригрозил он.

- Нельзя, - повторила она смущенно и с сожалением. - Пусть свечереет.

У жениха отлегло от сердца, но он стоял на своем:

- Темно будет, - как увижу?

- Сейчас луна, - возразила невеста. - Не слепой же вы? Слепые так не бегают. Как вы гнались! Я думала, вы ноги себе переломаете.

Голос ее звучал со всех сторон, - она не сидела на месте; Шарипджан почувствовал, что его обложили. Настроение у нее часто менялось, и в голосе порой так четко обнаруживалось лицо, что он потом божился, будто знал ее до черточки раньше, чем она ему себя открыла. Между тем, слова звучали ближе и ближе, так что, когда смерклось и они встали под полной луной, их разделяло всего несколько шагов.

У нее была приманчивая серповидная улыбка и ласточкины крылья вместо бровей, а сбоку на шее темнело родимое пятно. Он притронулся к нему пальцем - пятно стало большим и страш-

ным, потому что это был упившийся кровью москит, а он его раздавил и громко перепугался. Она засмеялась, но не скрыла смеха рукавом, как обыкновенно, и тогда он, опьяненный близостью женского лица, хриплым воронком прокаркал ее прекрасное имя и сказал... Это ясно, что он сказал. Все так говорят. Не в этом важность. Много важней, о чем он у нее спросил. Она вздохнула и проговорила, словно вслух размышляя:

- Не знаю. Но вы же умный. Разве вам трудно так сделать, чтобы я вас полюбила?

Вот так. Торжество и победа! Его грудь расперло от радости. Он так и сделает. Конечно, сумеет, что за вопрос! Это в школе его дураком обзывают за неуспешность, а в жизни он совсем другой. Она первая заметила, потому что сама неглупа.

- Клянусь, - сказал он, - что никогда вас не ударю. Чтоб у меня руки отсохли, - клянусь.

- Значит, я всегда буду вас ждать, - сказала она. - Клянусь, что так.

- И не буду с вами груб, - сказал он.

- Вы добрый, - сказала она. - Я тотчас поняла, когда вы из-за меня напугались.

Они стояли и разговаривали, не соприкасаясь. Ее слова сверкали новым смыслом, как драгоценности на солнце, и он постигал их талантом вмиг влюбившегося и навсегда влюбленного. Он не стал хватать ее за то, за сё, хотя его разбирала страсть и очень хотелось сделать это. Но он переборол себя и, взяв одну из ее тонких косичек, сунул в рот, - она ему позволила. Волосы слегка горчили, отдавая шалфеем и молодой полынью. Вбирая их

привкус, он едва не забыл назначить еще одно свидание на этом же поле...

Кузнец с трудом узнавал сына. Парень, напевая, пережигал железо и, пританцовывая, раскатывал его на наковальне до полной непригодности.

– Рехнулся? – спросил усто Матрасул.

Шарипджан сгибом локтя убрал со лба пот и за здорово живешь выболтал свой секрет.

– Отец! – воскликнул он. – Мне хочется уставать. Мне очень хочется уставать. Мне хочется очень уставать. Очень.

Усто Матрасул не обмолвился словом, но пристально посмотрел на сына и на следующий день вновь заседлал ишака. Ехать было не близко, но хорошие мысли сокращают дорогу, а усто Матрасул думал о женитьбе сына и это не мешало ему попутно размышлять также о прочих приятных вещах. Сам он был человеком неученым, и мысли у него были проще некуда: что на глаза попадет, то и мысль. Бабочки пили воду из арыка – он думал: "Вот мотылек. Один день живет и все успевает". Летали сойки и стрижи – он тоже думал, что еще год-два и этих птиц не будет, а вместо них полетят другие. Он оглянулся на прожитые годы, и жизнь привиделась ему краткой, как один день, только в этом дне выпадали мгновения длиной во много лет, и в одном из них, самом запомнившемся, – любовь. Ему легко было сравнивать прошлое с быстрым, как у стрижа, полетом, и он затянул вполголоса песню. Она была очень старая, может быть, старше усто Матрасула раз в десять, но не собиралась умирать, потому в ней пелось обо всех людях вообще и о каждом человеке в отдельности, и

он цедил ее сквозь зубы, точно свежий шербет.

”Когда я был молод, — пел усто Матрасул, — люди смеялись над моей бедностью, а я спал на земле и укрывался ветром, и ел черствый, как камень, хлеб, заливая его слезами бесчисленных обид. Но все это прошло, как пролетело. Теперь я богат и уважаем. У меня есть дом и состояние. У меня есть жирная пища и сладкое питье. У меня есть земля и скотина. У меня есть деньги и досуг. Чего только у меня нет! И все это я отдал бы, отдал бы, отдал бы за один миг, за один миг, за один миг невозвратимой, далекой своей...” Старики очень любят устраивать свадьбы, оказывать услуги и вообще вмешиваться в дела молодых людей, потому что им кажется, будто они от этого становятся моложе.

А у молодых состоялась еще одна встреча, последняя. Поле уже стало белым-бело от созревшего хлопка, но луна была такая же полная, и Саёра почудилась ему черным тюльпаном в снегу. Она позвала его издалека, а так как это равносильно признанию, то он бросился ей навстречу сломя голову, и лучшие бегуны устыдились бы своих рекордов, если бы видели, как он бежал. Запыхавшись, он сразу же схватил ее и так приблизил, что между ними совсем не осталось пространства. Две капли ртути сошлись, — кто не знает, что за этим следует? Шарипджан чувствовал себя, как туго натянутый лук, готовый выстрелить, но руки его были полны и заняты, прежде чем он отыскал тетиву. Это был шнурок шаровар; он его схватил и дернул.

— Шарипджан, — сказал она. — А если они

не договорятся? Тогда "это" откроется, и отец меня зарежет. Мне не жаль, я не боюсь, лишь бы вы знали. Зачем вам мучиться из-за "этого"? Вот. А теперь - как хотите.

Ей было почти пятнадцать, ему на три года больше, но когда приходит "это", люди умнеют и начинают понимать, что "это" лишь само по себе забава, а на поверку - такое же серьезное дело, как жертва вечерняя. Он вмиг поумнел и понял. И нашел в себе силы отстраниться. И сказал, потирая лоб:

- Я не хочу вам худа, - клянусь. И никогда не возьму вас против вашей воли, - клянусь, что правда. Потому что полюбил вас, и это тоже правда, клянусь, Саёра.

Узбеки вообще часто клянутся, это у них в обычае, а влюбленные, - те на каждом слове друг друга уверяют. Всем, кто познал природу любви, но не постиг ее сути, такие заверения кажутся легкомысленными и потому часто говорят, что в этом деле, как и во всяком ином, один бывает хитер, а другой глуп. Конечно, эти люди заблуждаются. Им, не постигшим сути, так же трудно понять влюбленных, как рыбе верблюда, умирающего от жажды, и их суждения оттого несправедливы, что все люди во все времена происходили не от хитрости с глупостью или обмана, а от любви, даже если она была очень недолгой. Да кто ж им виноват? Они не были внимательны к чувству, и оно их покинуло. Вот они с тех пор и говорят: "Слову верь, но не забудь о залоге".

У влюбленных все иначе, и слова их совершенная истина долгого, как вечность, мгновения. Это ничего, что оно когда-нибудь кончается, главное, что оно есть, и человек,

охваченный жаждой жизни и нетленной красотой земли под небом, говорит в душе примерно следующее: "Так будет и сегодня, и завтра, и через десять лет, и вечно, потому что я люблю". Какой ему расчет себя обманывать, когда он знает, что любовь, кроме надежды и веры, ни в чем больше не нуждается.

Поэтому ничего особенного в том, что невеста слушала клятвы жениха, верила и плакала от счастья, а затем сказала, что полагалось сказать и о чем немудрено догадаться. И расставанье у них было веселым. Они уже оторвались друг от друга, когда Саёра окликнула Шарипджана:

- Любимый! Я буду ласкова с отцом, чтобы он не очень жадничал. Клянусь.

Радость, как убегающее молоко, поднялась у него по горлу и хлынула через край сперва смехом, а потом словами:

- Любимая! Я буду послушен своему, чтобы он не очень скупился. Клянусь.

Когда наступила свадебная ночь, усто Матрасул взял Шарипджана за ухо и, припомнив бабочек, птиц, безостановочное время, а возможно, и еще что-нибудь, шепнул, чтобы никто не расслышал:

- Счастливо, сынок, лететь.

Шарипджан полетел. Он парил над чудесным сказочным озером, то касаясь водной глади, то взмывая в небесную синеву, а летелось ему легко и свободно. Оттого он и решил, что любовь - это полет. Жена не согласилась и сказала, что любовь - это видение: дивные разноцветные полосы, плывущие перед глазами. Но что они ощутили вместе, так это сильный аромат горных фиалок. Цветы эти бывают

только по весне и у них очень нестойкий запах, быстро исчезающий, но они его уловили и поладили на том, что любовь – это весна, хотя какая же весна, когда на дворе стояла глубокая осень и накрапывал дождь.

Детей у них было меньше, чем у усто Матрасула с Хуршидой, всего девять. Однако покойный отец не ошибся, и Шарипджан в самом деле чувствовал себя счастливым, когда пересчитывал их на ночь. А если в доме никого не было, он иной раз говорил дородной и поставшей жене:

– А ведь ловко я вас тогда на поле подкараулил, а, Саёра-хон?

От бывлой Саёры остались одни брови да улыбка, но он этого не замечал. Люди, долго и ладно живущие вместе, вообще перестают замечать друг в друге внешние перемены, потому что десять лет у них сходит за год, – за такой срок разве переменишься? Она слегка улыбалась и отвечала ворчливо:

– Сумасшедший! Только такой безумец, как вы, способен в своем безрассудстве так пугать честных девушек.

Слова тоже были другие, но он и этого не замечал, понимая все, как надо: сумасшедший – любимый, безумец – возлюбленный, безрассудство – любовь. Сам он давным-давно стал кузнечным мастером, и все его называли не иначе, как усто Шарипджан. Двух дочерей он продал замуж, трем сыновьям купил жён. На очереди был четвертый с предстоящими расходами. Его звали Эгамберген, он служил в армии, где-то в Вышнем Волочке, и вот-вот должен был вернуться насовсем. Дома его ждали и готовились, но тут как раз про-

изошла, не сказать, неприятность, но, в общем, неожиданность: усто Шарипджан получил два письма в один день, чего никогда прежде не случалось.

Первое – от сына. Тот писал, что заедет на неделю к другу в Харьков и, стало быть, задержится. Приятного, конечно, мало, но что ж делать? – пускай. А вот другое... Оно пришло неизвестно от кого: обратного адреса в нем не было и – какая дерзость! – предназначалось не Шарипджану Матрасулову, а Эгамбергену Шарипджанову, – возмутительно. Недрогнувшей рукой кузнец вскрыл оскорбительный конверт, и буквы заплясали на строчках в неразберихе смутных предчувствий.

”Моему многожданно возлюбленному, который теперь окончил службу и приехал домой из далекого, цветущего и непобедимого города Вышнего Волочка, – любовь, счастье, привет”.

Начало было таким же, как, скажем, ”во первых строках... чего и вам желаю”, но само известие оказалось, конечно, потрясающим: некая бесстыдница посмела написать сыну, минуя живого отца, и что! – любовное послание. Какая наглость! Кузнец сердито дернулся ногой и чуть было не опрокинул чайник. Но дальше.

”Любимый! Это письмо да ляжет вам на руки не раньше того, как вы обнимете ваших глубоко почитаемых мать, отца, братьев, сестер, родственников и друзей, после чего наступит черед тех, кто вас ждал наедине с дыханием”.

По форме письмо как письмо: во-первых, мать. Это правильно и все знают. Кому человек обязан делать добро во-первых? Матери.

Во-вторых? Матери. В-третьих? Матери. В-четвертых? Отцу. Эгам, когда приедет, подойдет сначала к Саёре-хон, а затем к усто Шарипджану, — детям так полагается. Себя она ставит на последнее место, а надо бы еще дальше. Скромность — украшение девицы, а терпение — ее достоинство. Но как же он, отец, не упас свою овцу? Когда же они успели снюхаться?

”Как здоровье ваших родителей? Благополучно ли доехали? Не болят ли ноги? Не проголодались ли? Не утомились? Не холодно ли вам было? Не огорчены ли чем? Не встревожены ли?”

Все, как следует, ничего чрезвычайного. И причин писать скороспешно усто Шарипджан не видит. Не успел парень вернуться, — нет, в его времена так поступать было неодобрительно.

”Любимый! Отдохните с дороги. Вкусите досыта еды. Успокойте сердце хорошими вестями. Развеселитесь в собрании родных и друзей. Приласкайте младших сестер и братьев. Вы приехали — слава Богу. Я так старательно все высчитала, что мое письмо должно достигнуть вас лишь на третий день вашего счастливого пребывания дома. И не сердитесь, любимый, что на большее у меня не хватило терпения”.

Начинается. Это скверно, когда терпения не хватает. Конечно, в молодости усто Шарипджан сам, бывало, спешил невтерпеж, но это было давно. С тех пор он образумился и постиг мудрость: спешка к богатству не приведет, суeta уважения не прибавит. Девушке — тем более.

”Ваше сладостное послание о скором приезде я получила на почте в отделе ”секреты по пас-

портам”, и вы там еще написали, что, приехав, будете говорить с отцом о нашем деле”.

Вот оно что! Значит, ”секреты по паспортам”. Что за времена пошли! Что за молодежь! И любовь у них не такая, и вообще, умные слишком...

”Любимый! Прошу вас, не торопитесь обсуждать наше дело с родителем. Пожалуйста. Поговорите сначала с теми, кому вы милей дорогой души, кто вас два года ждал с надеждой и верностью и кто теперь ждет со слезами горести и печали, пр...”

Наверное, ”простите”. Здесь она заплакала неаккуратно, и капля размыла слово до неузнаваемости. Какая там беда! У всех у них беда одна: просватали, замуж выскочила, потому и ”простите”. Усто Шарипджан обозлился еще больше и загадал всердцах: ”Притворщица! Если она так и скажет, не стану дальше читать, порву. Хорошо, что Эгам не знает”.

”Любимый! Поистине, весна пришла для завистника и миндаль расцвел для врага. Журавли пролетели в вашу сторону, а я с горя даже не заметила, какие у них крылья. Я берегла вас от неприятностей и о беде своей не писала, пока сама справлялась, а минувшая неприятность и обойденная беда не стоят ваших тревог. Беды мои начались вскоре после того, как вы отбыли свой отпуск и уехали от меня так далеко, что холодно подумать”.

Подходяще выражается, красиво. Сердце стало помягче, а от частого повторения слова ”любимый” у усто Шарипджана засластило под языком и он сбил набежавшую слюну большим глотком чая. Если бы можно было по неживым словам определять внешность, как по голосу,

он бы на нее при этих строчках взглянул, не удержался.

”Любимый! Отец сказал, что я уже выросла и пора продавать меня замуж. К нам тогда же приезжали рядиться, но не сошлись в цене: отец просил десять тысяч, а от жениха давали только семь. Я его видела. Он моложе меня на три года, совсем мальчик. Он сидел, ел плов и на меня, жуящий и глотающий, не обращал внимания, а его отец посмотрел и прибавил еще тысячу. Отец мой всё говорил жениху: ”Купайте, уважаемый! Насыщайтесь, уважаемый!” и не уступал цены по жадности. Мне стало страшно и я убежала, потому что испугалась: а вдруг он, этот насыщающийся, тоже на меня поглядит и тогда они столкнутся, а мне — закрылись бы глаза его видеть!”

В своем несчастье она сделалась привлекательней тем, что смогла в словах улыбнуться сквозь слезы, и усто Шарипджан тоже улыбнулся. У нее были заметны внешность и характер; то и другое чем-то напоминали кузнецу его Саёру в молодости, если бы не брать ее в жены из шестого класса, а дать доучиться. Впрочем, кто скажет? Усто Матрасул забрал его из школы и был прав, когда сказал: ”Хватит семи”. Усто Матрасул, да читится его могила, знал, что делал.

”Любимый! Тогда я поняла, что жадность отца — мое спасение, и стала молиться, чтобы Бог благословил жадных и утроил их желания. Я одевала лучшие платья. Я беспечно пела и беспричинно смеялась, так как знала: если буду печалиться и плакать, то стану некрасивой и отец умерит цену, — разве я этого хочу? Мне удалось. Отец призвал меня и говорил

со мной. Его слова: "У тебя красивые глаза. Прости, что только заметил. Ты, верно, обрадуешься, если я наброшу по тысяче на глаз и мне тогда хватит на машину. Поздравляю, ты стоишь двенадцать тысяч, ступай". И подарил мне новые туфли.

Он не ошибся: моей радости не было предела. От нас отступились все сваты. Душа моя ликовала, когда я думала: "Кто меня возьмет за столько!" или слышала, как люди в кишлаке называют отца "продавцом с неправильными гириями".

Усто Шарипджан прикусил палец, но тут же стал смеяться громче и еще громче, пока не расхохотался без удержу. И эта девочка стала вдруг очень симпатичной и нравилась ему все больше и больше за ум, за сноровку, за упрямство. Пусть только не подумают о нем плохо; она ему нравилась не для себя, а для Эгамбергена. "Крестьяночка, — убежденно размышлял усто Шарипджан. — У городских догадки не хватит. На такую можно и не поскупиться". Он был в курсе рыночных цен на невест. Выше всего котировались школьницы, особенно сельские, — пять-шесть тысяч. Второй сорт — студентки и перезрелые девы с дипломами, — две-три тысячи. Наконец, самый отброс — дочери всяких начальников и ответственных руководителей. Ни один благоразумный узбек не давал за них ни гроша, зная, что взбалмошная, капризная и раскормленная сноха побежит жаловаться родителям при первой же семейной неурядице и станет позором для семьи. Лучше всего — крестьяночка. Эта подойдет.

"Конечно, радость моя была ложной и долж-

на была когда-то кончиться. Я только и ждала вашего возвращения, только и снилось мне: скорей бы вы приехали, скорей бы вас увидеть, а там, как скажете. Я понимаю, что девушке приличней ждать, чем торопиться, и мне стыдно, что спешу, но как же не спешить?

Любимый! Я больше ничего не могу. В воскресенье приедут новые сваты, а жених — большой богатый человек, не имеющий возраста, третью жену берет, и люди его очень за деньги уважают и боятся, говорят, будто он всех купить может. Отец велел мне принарядиться и накупил хны, сурьмы и дорогого розового масла. Мать меня утешает, говорит, что любовь проходит, а дети остаются, но это неправда и несправедливо к бездетным, которые всю жизнь любят друг друга, иначе зачем бы им быть вместе? А я не хочу, чтобы она проходила. Пусть будет. Если она пришла раньше, пусть будет”.

Усто Шарипджан дочитал до точки и задумался: тут была какая-то новая любовь, не такая. Ему сделалось не по себе, когда он, пошарив в памяти, обнаружил, что его опыта не хватает и мера его мала. Он много слышал на веку и даже сам с возрастом подумывал, что дети — это прекрасно, а всё, что с ними связано, гадко, мерзко, отвратительно. Но вот находится какая-то девчонка и заявляет, что это не так, и усто Шарипджан незаметно начинает думать, что она права. А это значит только одно: его сын встретил столь сильное ответное чувство, которое само по себе и вера, и надежда, и сила, и всё. Это прежде было редкостью, а теперь и вовсе. Такие, как она, или находят свою половину и всю жизнь не

знают старости, или обливаются керосином и... Беда!

”Любимый! Лучше бы вам приехать, когда я была дешевле, и для вас не было бы во мне такого разорения. Любимый! Не верьте, что это я сама себя так обозначила. Три года уже с того дня, как вы в саду протянули ко мне руки, и я в них вошла, чтобы не оставить их пустыми. Разве я взяла с вас за постой, как с гостя? – ведь вы были у себя дома. Разве я думала тогда о чем-нибудь, кроме ваших слов? Разве я сейчас забочусь о цене, которую выдумали другие? Вы – моя забота. Ваша любовь мне цена”.

Да! Проходит время, меняется любовь. Значит, в саду. Но почему же в саду, когда в поле тоже неплохо: людей нет, от жилищ далеко. А в саду мало кто бродить может. Увидят, засмеют, опозорят, ”джалаб” скажут. Это на любовь-то! Вай, сколько людей на свете, которые не смыслят. Бедная девочка. Что же делать?

”Любимый! В пятницу я отпущусь к тете и приеду в Хиву. Мы с подругой будем гулять от мазара Палван-ата до минарета Ислам-ходжа, и я буду ждать вас днем от одиннадцати до двенадцати. Прошу вас, поспешите, спасите.

Боже неумирающий, помнящий! Если любовь, как и все хорошее, происходит от тебя, вспомни людей, которые любили раньше, и взгляни на нас”.

Дальше того не было ни даты, ни подписи. Штамп стоял хивинский, позавчерашний, он не примета. Тетя, проживающая в Хиве, – тоже. Внизу с двух сторон письма – черточки невзрачные, бессмысленные, чепуха какая-то. Сло-

вом, ничего. А усто Шарипджану надо знать, кто писал. Обязательно. Имя надо знать. К пятнице. Во дворе и на календаре госпожа Вторник. Всего два дня. Мало.

Среду он промолчал. В четверг наспех оделся и первым автобусом отправился в Хиву. Жене сказал, что по делу едет, а по какому, не сказал, да она, умница, и не допытывалась. Дело же наметилось у него вот какое: Хива – город-музей и заповедник, – это раз; в нем много знающих сотрудников, людей ученых, образованных – два; его никто не знает, он никого не знает, можно говорить обо всем напрямик, – три; он им покажет письмо, и они разгадают имя той, что его писала, – четыре; ведь не бывает же так, чтобы человек позвал на помощь и спрятался от спасающих – пять; разузнав имя, он в урочный час пойдет к указанному месту – шесть; по имени он ее отыщет и поговорит – семь; а о чем ему с ней говорить – забота восьмая. Короче, хлопот было достаточно и само дело казалось запутанным клубком, где не за ту нитку потянуть, значит запутать его еще безнадежней.

Усто Шарипджан ходил из отдела в отдел. И показывал злосчастное письмо. И все его читали. С интересом читали, с оживлением, может быть, потому, что чужая беда от века интересней, чем своя. Он терпел и ждал. Ему отвечали невпопад, кто как. И ни один умник не сказал ему то, о чем он спрашивал: имя.

Начал он с безбожного отдела, словно поддавшись соблазну вначале испытать в подобных делах силу нечистого духа. Должность сатаны, к его удивлению, отправлял благодушный пловный мусульманин, сетовавший на зар-

плату, зловонно дышавший чесноком и время от времени уснащавший свою речь ссылками отнюдь не на классиков атеизма.

- Бисмилляхи рахман-рахим! Вы что же, уважаемый, вправду хотите двенадцать тысяч платить?

- А вам что за дело, почтеннейший? Я их у вас одалживать не собираюсь.

- Это верно. Да ведь цена, знаете... Не по базару цена. Жаль вас.

- Чужие деньги зачем жалеть?

- Да ведь они, уважаемый, хоть и чужие, а деньги. За пол-столько можно сосватать.

- Уж не дочь ли вашу?

- Ну что вы! Моя дочь, машалла, хе-хе, бутон ненюханый, трижды двенадцать стоит.

- Ой, не купят.

- Подождем, нам не к спеху.

- Вот видите, а мне к спеху. Не сойдемся. По делу что хорошего скажете?

- А что тут сказать? Ля илляхи-лля! Непристойное письмо, уважаемый, только и всего. Приличной девице совестно так писать.

- Я вас не о приличиях, я о деле. Звать-то ее как?

- Не знаю, уважаемый. Неизвестно.

- А эти палочки?

- Ребенок баловался.

- Они с двух сторон, - видите?

- С двух сторон побаловался. Дети, они - иншалла! - чего не нацарапают...

Этнографическим отделом управлял грустный подслеповатый старик, не желавший уходить на пенсию. Он долго мусолил письмо, вчитываясь по складам, как малограмотный, и, наконец, спросил:

- Сыну первую жену покупаете? вторую?  
- Первую.  
- Так для чего ж вам невеста с порчей?  
Брали бы целую. Не родной сын, что ли?

- Родной. Порчи не вижу.  
- А я вижу. Ясней ясного вижу.  
- Да ведь не вам стараюсь.  
- Ваша правда. А только сына родного грех обижать. Мало ли чего ей написать вздумается. Употребленная женщина. Года три не на глазах...

- Да хоть десять.

- Ну, если вам все равно... За нее теперь больше двух тысяч никто не даст.

- Почему же никто? Я дам.

- У вас их много?

- Ровно на одно счастье.

- Богаты! Не было бы несчастья.

- Не беспокойтесь. Скажите лучше, как имя.

- Вот об этом в письме как раз ничего нет. Что не-девушка, это есть, а насчет имени...

- А эти закорючки?

- Без значения. Кто-то бумагу пачкал от делать нечего да бросил. А какая-то имеемая подобрала и глупости понаписала.

В отделе истории дореволюционного периода на главном стуле восседал молодой перспективный стервец с высшим образованием, а вокруг стола расселось еще человек пять бездельников с пиалами и анекдотами. Письмо прочитали вслух, резвясь и хохоча до упаду. Затем стервец сказал:

- Слушай, дядя. А может, это шутка?

- Какая шутка? Разве этим шутят?

- Ха, еще как! От шуток сейчас народ размножается, дети рождаются. Сам женат, знаю.

- И много нашутили?

- Ого? Да ты острослов, я вижу. Надо с тобой по-серьезному. Кроме смеха, гляди сам. Подпись есть?

- Нет.

- Адрес?

- Нет.

- Число хотя бы?

- Нет.

- Вот видишь! Анонимное письмо называется.

- Какое?

- Анонимное. Один человек, сказать, обиду держит на другого. Взял и написал. Для огорчения и скорби. И не подписался.

- Почему?

- Чтоб глупцы, вроде тебя, спрашивали. Если б тебе не зная кто сообщил, что твой сын - Мадраим-хан, поверил бы?

- Нет.

- А говоришь! Анонимное так и есть. Ты его, дядя, порви, выкинь, а на черточки-верточки внимания не обращай. Дурость это. Шутка плешивых. Вопросы будут?

Вопросов не было. Кузнец без сожалений покинул отдел проклятого прошлого и направился в современность, называемую по-научному отделом советского периода. Его там встретил одинокий джинн средних лет с гладкой политической прической, блудливыми глазами и носом, свернутым на сторону. Ознакомившись с письмом, джинн выкатил грудь, запрокинул голову и, называя усто Шарипджана "дорогим товарищем", сразу же нагнал на него страху длинными и зычными заклин-

наниями, из которых следовало, что нынче сильно возросло число молодых самосожженных, в особенности на первом году брака, и все из-за того, что среди самоубийц женского пола наблюдается отсутствие правильной идейно-воспитательной работы. Пусть, сказал джинн, усто Шарипджан срочно разыщет эту кандидатку на сгорание и приведет к нему, а он в свободное от дел время учинит с ней чудо, от которого всем будет хорошо, а усто Шарипджану всех лучше. Виновников же сватовства джинн призвал найти и подать на них в суд.

- Безобразия! - бушевал он. - Уголовное дело! Предрассудки! Двенадцать тысяч! Грабеж! Преступники! В тюрьму их!

- Зачем? - возразил усто Шарипджан. - Все так женятся. Я так женился. Вы так женились. Тюрем не хватит сажать. Работать будет некому.

- Можно через газету, - не унимался кривоносый дух. - Главное, выяснить, кто по области хочет в воскресенье свататься и к кому.

- Не подходит.

- Ну, по телевизору. Это интересно. Сейчас почти везде телевизоры.

- Не везде.

- Тогда по радио. Радио, дорогой товарищ, это такая вещь! Пропаганда новой жизни и борьба с пережитками феодально-байских отношений...

Бедняга! Он слишком долго просидел в бутылке и перестал понимать живых людей. Усто Шарипджана не устраивали ни борьба, ни пропаганда, ни разрушенный город, ни построенный дворец, - ему нужно было совсем не то.

И тем не менее, грязный, обшарпанный, волосатый дервиш из отдела археологии посоветовал ему буквально то же самое:

- В пятницу приходите с утра. Зачитаем письмо через микрофон. Пригласим. Весь заповедник услышит и она тоже. Прибежит.

- Прибежит?

- Как джейран. Не понимаете? Она ж бессовестная.

- Как "бессовестная"?

- Э-э, слушайте. А кто сейчас не бессовестный? Где совесть была, там знаете что выросло? Прибежит.

- Ошибаетесь. Она убежит.

- Давайте спорить. На сто рублей.

- Давайте. На стриженую бороду вашего родителя.

- Ну, что вы так! Я с вами серьезно.

- А я разве шучу?

- Так отец же!

- Конечно. Моя невестка хуже вашего отца.

А ваш палец толще моих чресел, - кто вам это внушил?

- Да-да, - смутился дервиш. - Извините, не подумал.

Усто Шарипджан извинил дервиша, но страшно расстроился. Это до того было заметно, что в отделе природы ему по прочтении письма так и сказали:

- У вас что, в самом деле, горит? Вам очень нужно? Но, клянусь, из письма ничего не явствует. И эти палочки, - никакой это не иностранный, а случайность. Ойе! - погодите. Вы в прикладном искусстве были? Сходите-ка туда и спросите Убайдуллу Рахматуллаева. Он, правда, тоже вряд ли скажет, как ее

зовут, но определит по почерку, кто писал: мужчина, женщина, характер, возраст, — понимаете?

— Мужчина, женщина, так, так. Прикладное искусство?

— Прикладное.

— Рахматуллаев?

— Рахматуллаев. Он не наш, ферганский. Узнаете.

— Узнаю.

И он действительно узнал. У ферганца было веселое смуглое скуластое лицо, разлтые брови, краткий, настырный нос и глаза с прозеленью. Он стоял, согнувшись, разглядывал кусок резной балки, мурлыкал песню о продавце халвы и был похож на Ходжу Насреддина, отдыхающего после озорства. Усто Шарипджан даже засомневался, стоит ли обращаться к такому веселому человеку по делу слишком для всех затруднительному, но выхода не было и он решился: отдал "салям", получил "алейкум", выложил письмо и объяснил нужду. Лицо у ферганца, едва он принялся читать, посерьезнело, но озорство не пропало, лишь спряталось в глубине глаз, и песню свою он не бросил. Усто Шарипджан почувствовал неловкость в ногах и без спросу опустился на стул, следя за шустроглазым хитрецом. Тот вдруг поморщился, щелкнул языком и проговорил, перекладывая речь песней:

— Девушка писала. Только-только школу закончила. Халвачи, халва... Или кончает, — не знаю. Молодая. Не больше восемнадцати.

— Так, так, так, так, — поощрительно заточковал усто Шарипджан.

— Характер, уважаемый, как вам сказать...

Неровный характер, не выпрямился, а показывает. Ох-хо! сколько показывает. Так прямо и заявляет: да, значит, да; нет, значит, нет. Халвачи, халва...

- Так, так, так, так, так, так, - подтянул незаметно для себя усто Шарипджан.

- Бай-бой, уважаемый! Шахсанем, Ашик-Гариб! Тахир, Зухра! Лейли, Меджнун! Фархад, Ширин! Халвачи, халва! Юсуф, Зулейха! На одну жизнь девочка, уважаемый.

- Говорите, почтеннейший, говорите.

- На одну жизнь, говорю. Отдай две ладьи, не отдавай Диларом. Сыну вашему, уважаемый, или счастье привалило, или...

- Или?

- Напасть. Всем. Вай-дод, какая! Не оберешься. Тому, другому, третьему. Всем, кроме вашего сына, как уже сказано...

Ферганец опять прищелкнул, всхотнул и запел о халве. Не прерывая пения, он взял линейку и, вымеряв текст вдоль, поперек и наискось, объявил, что акростиha в письме нет. Потом он разгладил листок на гладкой дощечке, повертел ребром на уровне глаз и сказал, что криптограммы тоже нет. После этого ферганец проверил письмо на шифры, которыми пользуются влюбленные для сокрытия тайн, и в том числе испробовал шахматный шифр, самый сложный. Шифра не было. Тогда он вынюхал листок сверху донизу и фыркнул по-кошачьи.

- У безбожников были?

- Да.

- Худайкулов из командировки вернулся?

- Не знаю, почтеннейший. Он не назывался, я

не спрашивал. Дело у меня деликатное, сами понимаете.

- Толстый такой. Он чеснок любит.

- Истинно! Истинно! Не продохнуть!

Оба посмеялись, и ферганец продолжил возню с письмом. Он его долго еще перевертывал, скручивал, сгибал, считал строчки и составлял хронограммы, потому что цифры, по его словам, иногда могут заменять буквы, а усто Шарипджан ждал и боялся пошевелиться. Но вот ферганец подошел к окну, посмотрел сквозь исписанную бумагу на свет и пропел о халве без обычной задумчивости.

- Ее зовут Рано, - сказал он.

- Этого не может быть, - воспротивился кузнец. - Откуда... откуда вам... это... известно?

- Взгляните сюда.

Он подвел усто Шарипджана к окну, уложил бумагу на стекло, придерживая ее сверху и снизу пальцами, и усто Шарипджан увидел обыкновенное и удивительное: палочки, заколючки и каракули, написанные с двух сторон и неприметные в строчках, как птицы в листве, теперь прояснились со всей четкостью, и он собственными глазами прочитал женское имя, то самое, которым сын дважды бредил во сне, а Саёра подслушала, - у нее, как и у всех матерей, сон птичий, чуткий... Минуту-другую усто Шарипджан ошарашенно глядел то на ферганца, то на письмо, а придя в себя, сказал с торжеством в голосе:

- Мулло! Вы великий алім! Вы настоящий ученый! Вы нужный человек! Остальные - хе! - зря переводят хлеб и не стоят опивков из ва-

шего чайника. Вы умеете все. Теперь я знаю, что надо.

Кузнец ухарски сбил тельпак набекрень и прокричал с порога:

— Мы еще свидимся. Высокая честь! Я приеду. Без вас не сядем. Только по правую руку! Высокая честь! Скоро увидимся. Яхши!

Кино! Усто Шарипджан кричал, махал руками, утратив степенность, и убежал по-мальчишески, а ферганец смеялся зубатым ртом и зелеными глазами до тех пор, пока не заметил на полу бумажку. Как жаль, что деньги глушат песню, прерывают смех и разворачивают людей, но что было делать Ходже Насреддину, если эта бумажка цвета его озорных глаз превышала полумесячный заработок и являлась оплатой труда? Он ее поднял.

Чем дальше, тем проще. К намеченному часу кузнец сидел у минарета и вся улица до мазара Палван-ата была перед ним как на ладони. Из пестрого потока проходящих и уходящих ему не стоило труда выделить двух девушек и искоса их разглядеть. Обе они были до того хороши собой, как хороша только молодость или весна, или раннее утро, и он так долго на них украдкой смотрел, что, наворовавшись, почувствовал себя совсем еще не старым. Это его огорчило, так как он не мог отдать предпочтения ни той, ни другой, а ему нужна была только одна: — Ширин. То есть, Зухра. А по нынешним понятиям — Рано. Трудность заключалась теперь в том, что он не мог подойти без приличий к женщине, не назвав ее по имени, а кто из них Рано, он не знал. Если бы он был европейцем, то наверняка позвал бы милиционера, а тот сказал бы

парочке: "Ваши документы?" и расстроил бы все дело. Но он не был европейцем и, кроме того, ему надо было устраивать, а не расстраивать. Поэтому он подумал: одна из них должна искать Эгама - кто? Он следил и не мог отгадать; обе они кого-то высматривали, обе были встревожены и вели себя, как молодые двухлетки, отбившиеся от табуна. Нет, здесь нужны были глаза Эгама, которого не заметит ни один мудрец.

Когда усто Шарипджан это понял, с ним произошло совершенно небывалое превращение: взгляд его вдруг стал прозрачней и мягче (он успел этому даже удивиться), сердце выросло и ткнулось мощным толчком в частокол грудной клетки, дыхание сделалось прерывистым и торопливым, словно он опять гнался за Саёрой по хлопчатнику, на лбу проступил пот и он отер его не сгибом локтя, а, как Эгам, - большим пальцем правой руки. И посмотрел не воровски, а напрямик. И узнал. Это была она, то есть только она и никто другой.

Он подошел, поздоровался и, не дав опомниться, сказал, будто знал ее раньше, чем с ней Эгам познакомился:

- Вы Рано.

Девочка ойкнула, схватилась ладошками за щеки, и глаза у нее стали круглыми от страха.

- Успокойтесь, - улыбнулся усто Шарипджан. - Я отец Эгамбергена. А как зовут вашу подругу?

- Джумагуль.

- Прекрасное имя. Сходите, Джумагуль, в мазар и сделайте намаз. Большой. За всех, кого знаете. Мы подождем...

- Я прочитал ваше письмо, - сказал усто Шарипджан, когда они остались вдвоем. На глаза её навернулись слезы и голос пресекся.

- Простите, - прошептала она.

- Не плачьте, - сказал он. - Все хорошо. Вы очень умно сделали, что написали... Когда Эгам в отпуск приезжал, мы с матерью его почти не видели. Это он с вами скрывался?

Она промолчала, будто "да" ответила, и кузнец удовлетворенно ощерился. И все было пристойно. Мимо проходили люди и никто не посмотрел на них дольше, чем смотрят на отца с дочерью. И разговор у них получился длинный. В самом конце усто Шарипджан не удержался и спросил:

- Почему же все-таки двенадцать?

- Не знаю. Машину отец захотел.

- Он продешевил. Вы стоите больше.

- Я не знаю.

- Конечно, откуда вам? Эгамберген знает. Только не знает, что у нас почти уже все готово, а, детка?

Она засмеялась, и смех у нее был счастливый.

- Завтра, значит, и приеду, - продолжал кузнец. - К вечеру. У вас заночую. А чего нам воскресенья ждать, когда суббота раньше, верно? И дам отцу выкуп. - В затылке у него шевельнулась расчетливость, прежде чем он сказал: - Десять, так десять. - Но щедрость взяла верх, и он добавил: - А двенадцать, так двенадцать. - Что касается благородства, то это чувство нерасчетливо и беспредельно, потому что усто Шарипджан вдруг прихвастнул: - И вообще, сколько запросит, столько дам! - Тут вмешалась практичность и поставила

предел благородным порывам души старого кузнеца, подсказав ему, что есть еще и другие дети, и если он станет всем им покупать жен по такой цене, его не надолго хватит. Вот оттого усто Шарипджан дернул себя за бороду и очень ловко выкрутился, шепнув девушке в ухо: — Только это тайна и никому нельзя доверять.

Вот, пожалуй, и всё, хотя при желании можно и продолжить. Приехал сын, сыграли веселую, пеструю свадьбу, было много гостей, а это такой народ, что издалека слышат, если молодые по любви сходятся. И зрелищ хватало: дрались призовые бараны, боролись борцы, ходили по канатам акробаты и потешали всех шуточками. И цветы были, и музыка, и песни, и танцы, а в Хорезме танцевать умеют как нигде. На женихе был моднейший костюм джазового цвета, а невеста была в совершенно диковинном хан-атласе и в бархатном жилете золотого шитья.

После брачной ночи жених, а точнее, молодой муж навестил тестя, — это непременно полагается делать. Тот раскинул по такому случаю новый нетоптанный ковер, и зять, ставши посередине, выразил тестю чувствительную признательность за то, что его дочь оказалась честной девицей, то есть без порчи, без изъяна и безо всякого женского недостатка. Дружок, ферганец, похожий на Ходжу Насреддина, как две капли воды, клятвенно заверил тестя, что зять изрек истинную правду. Тесть, в свою очередь, поднялся и поблагодарил зятя за пролитую дочернюю кровь, за которую единственно не взыщут, а в ноги кланяются. Затем ферганец скатал ковер в рулон и по

праву забрал себе. Это очень выгодно быть на хорезмской свадьбе дружком с правой руки.

Свадьба длилась целую неделю. Гуляли, рассказывают так, что запах шашлыка и плова доносился до соседнего кишлака километров за пятнадцать. С ними спорили те, кто утверждал, что до помянутого кишлака вовсе не пятнадцать километров, а вдвое меньше. Впрочем, находились и такие, что уверяли, будто ветер дул совсем не в ту сторону. Это вредные люди. Никто их на праздник не приглашал, они сами пришли, да напившись, наевшись, нагулявшись, стали говорить нехорошие слова. Их послушать, так любви-то и вовсе на свете нет. Несчастные! Кто им поверит?

1981 г.



ВЕЧЕР

1.

День кончился, вот он теряет цвет,  
Так в отдаленном храме гложет медь,  
И колокол уж мертв, но стонет,  
Так вечер незаметно тонет  
В огне, горит, моля о милости,  
И в ночь течет, чтоб горем вырасти.

2.

Небрежно, расточительно разлит жасмин,  
Он растворяет запахи, как будто он один  
Здесь царствует над стынувшим асфальтом,  
Над небоскребами, в которые залатан  
Мой дом, вернее два окна,  
Два глаза, а за этим темнота –  
Той жизни прожитой ограда  
Из листьев молодого винограда,  
Где пенилось дешевое вино –  
Мы чувствовали в этот миг одно  
Желание, дыханье, чтоб потом  
Осталось все расплывчатым пятном.

Устала. Почему-то ноют плечи.  
День позади, а впереди был вечер.

*Июнь 1988*

\* \* \*

На уровне быстрого взгляда,  
С уходом полдневного пыла,  
Вечернего неба прохлады  
Завесу окна приоткрыла:

И свежий надрез на гранате,  
Как облако на закате,  
До самых бровей багровеет,  
И чем-то таинственным веет...

Не объяснить по-дневному,  
Не опрокинуться в блюдец,  
Ведь все поймут по-другому,  
Ведь все при своем остаются.

*Август 1988*

## ЛЕТНИЙ САД

Летний Сад иногда вспоминаю,  
Его статуй белые очи,  
Там бродили аллеями светлыми  
В низких сумерках порванной ночи.

Пусть бледнеет, уходит память  
Истаивающим движением,  
Наградили меня те статуи  
Каменным выражением.

Ночи белые не подытожить  
Даже зеркалом света дневного,

Это как бы тоску умножить  
Нерабочего дня седьмого.

Что же память моя несмелая  
Закрутилась унылой пляской,  
И по лбу моему проводит  
Голых нервов невидимой связкой?

Пусть бледнеет, уходит память  
Истаивающим движением,  
Наградили меня те статуи  
Каменным выражением.

*Ноябрь 1988*

## ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Всю ночь по мостовой шуршанья перебежки,  
К окну прилег последний листик сада,  
Мне в темноте легко уйти от взгляда  
Последнего. Ведь все причастность очевидца.  
На этом жизнь могла б остановиться...  
Смотри, как инеем становится прохлада!

*Декабрь 1988*

\* \* \*

Сэкономлю слова,  
Моего не поймешь намека,  
И сплетенного света пучок  
Распадётся до срока,  
Ударяясь в мой черный зрачок.

В нем былое – от рая до ада,  
Обескровленной дружбы срок.  
Не пытайся, не надо  
Развязать узелок.

В нем весь путь – от пустыни до сада,  
В котором исчезла листва.  
Не пытайся, не надо  
Искать слова.

*Январь 1989*

\* \* \*

Днем и ночью тонким мученьем,  
Низким проводом ноет душа,  
Как положено выть захолустью  
Жизни в самом пустынном отрезке,  
Где всё вяжется с тягостной грустью,  
Где давно не восходит свеченьем  
Растворенная нитка заката,  
О чем проза разочарованно  
Как про бывшее царское золото,  
Нам расписывала когда-то.  
То, что в жизни не может не сбыться  
За лукавой усмешкой червонного  
Счастья.

Хочется в нем заблудиться –  
В этом скомканном фразой отрезке...  
Мои стоны и глухи и резки.

*Февраль 1989*

\* \* \*

Конец мне совсем не страшен -  
Склонюсь, посерею, паду,  
Как колос с забытой пашни,  
Как яблоко в старом саду.

Осень, ты только вначале -  
Лишь пасмурный день мой суров,  
Челнок на тонком причале,  
Противится пляске ветров.

*Февраль 1989*

\* \* \*

Снег,  
Лишенный прочности дух -  
Не аромат, не сладость,  
Буран в воздухе -  
Разгневанный пух.

Ночь.  
Угрелась в своем тепле -  
Два одеяла - радость!  
Путник далекий,  
Тепло ли в земле?

Тишь -  
Если бы не гремело,  
Не катился б вдали,  
Забытый в трюме  
Бочонок тоски.

*Май 1989*

\* \* \*

Кровавое солнце заката,  
Реки повязка.  
Последний раз рука пожата -  
Так надо - развязка.

Профиль гор спокойный и жуткий  
За шпилями зданий.  
Доносятся смех и шутки  
Закатных гуляний.

Осталось предчувствие счастья -  
Доля такая:  
Чтоб я, разрываясь на части,  
Резвилась, сгорая.

*Июнь 1989*



## Раввин с Горы Кальвария или загадка Вольфа Мессинга\*

Весною 1943 года мои следственные дела приняли очень плохой оборот. Я уже давно кое-что наговорил на себя, подписал нужные прокурору протоколы допросов и ждал завершения следствия, считая, что мне дадут срок и отправят в лагерь.

Но вдруг в это время немцы обнаружили могилы польских офицеров в Катынском лесу, да еще догадались пригласить комиссию из нейтральных иностранцев, неопровержимо установившую, что кровавая расправа учинена весной 1940 года чекистами. Скандал получился в мировом масштабе и убийцы метались в поисках материалов, которые могли бы отвлечь внимание от катынского преступления. Среди прочего, им дозареза надо было скомпрометировать польское правительство в Лондоне и разработать ложные обвинения против сформированной в Узбекистане армии генерала Андерса, которая к тому времени уже перебралась в Иран. В роли агента, проводившего в жизнь

---

\* Окончание. Начало см. "Грани" № 153 (3), 1989.

”преступные замыслы” Лондонского правительства, должен был выступить я.

Неисчерпаемая фантазия Калининского разработала сценарий, согласно которому мне приписывалась попытка поднять вооруженное восстание народов Средней Азии против советского ига. По этому сценарию я был организатором диверсионно-террористической сети и снабжения деньгами, взрывчаткой и оружием завербованных мною националистов – узбеков, казахов и туркмен.

Но я наотрез отказался взять на себя честь выступления в столь высокой исторической роли, чем чрезвычайно разочаровал доблестные органы. Я даже не польстился на обещание устроить мне открытый показательный процесс. Напрасно начальник следственного отделения полковник Гнилощук доказывал мне всю выгоду такого процесса: я не буду осужден заочно в массовом порядке Особым Совещанием, а индивидуально; я смогу выступить перед Военным Трибуналом, да еще в присутствии представителей иностранной прессы!

– Ведь ты имеешь, бля, шанс прогреметь на весь мир! А потом, кто знает? Советская власть всегда учитывает чистосердечные признания и может оказать милость, – по-отечески заботливо уговаривал он меня.

Но я, неблагодарный пес, так заартачился, что задал чекистам лишнюю работу: им, беднягам, пришлось снова поставить меня на круглосуточный ”конвейер”. Так продолжалось несколько дней. Достойные сожаления следователи старались изо всех сил: выбивали мне последние зубы, швыряли мои битые кости на мокрый бетон холодных карцеров. А я все не соглашался.

Со временем они уже примирились с мыслью, что из попытки восстания народов Средней Азии ничего не получится. Бить и фактически даже допрашивать меня перестали, но по долгу службы вызывали в кабинет и не слишком беспокоили. Я стоял по стойке "руки за спину" у дверей кабинета или сидел на краешке табурета, а они писали письма, читали газету или любезничали по телефону с девушками из централи.

Как потом оказалось, эта двухмесячная задержка почти наверняка спасла мне жизнь. Когда мне в конце концов зачитали, что ОСО при НКГБ СССР припаяло мне червонец без никакой добавки и я попал на пересылку в Куйлюк на окраине Ташкента, то узнал, что попади я туда на несколько недель раньше, то наверняка сыграл бы в ящик. Там только что затихла эпидемия кровавой дизентерии, скосившая сотни заключенных. Рассказал мне об этом чудом оставшийся в живых парикмахер-лобкобрей... Но я, увлекшись воспоминаниями, перешел на лагерный жаргон – прошу прощения!

Незадолго до прочтения мне приговора, в мае 1943 года, в кабинете следователя Первалова произошло нечто странное и для меня непонятное. Это было в субботу, днем. Вошел следователь Каган, с ласковым прозвищем Яшаубивец, и вполголоса стал совещаться с хозяином кабинета – куда им пойти вечером, чтобы развлечься после трудов праведных. По привычке заключенного я, как зверь, вслушивался в каждое их слово. И вдруг до меня донеслось:

– А не сходить ли в наш клуб? Там для руководящего и среднего состава сегодня выступает Вольф Мессинг.

Я чуть с табуретки не свалился. Батюшки, да что же это такое?! Неужели старый воробей сумел выкарабкаться из смертельной ловушки?

В камере я начал строить догадки. Неужто, несмотря на позорный провал его телепатического штукарства при попытке бежать в Иран, энкагебешники все еще верят, что он обладает какой-то таинственной силой и может им пригодиться? Может быть, они хотят, чтобы он научил их читать мысли подследственных? Пожалуй, они скоро отменят обычные допросы с рукоприкладством и начнут допрашивать "через руку"? Как у многих заключенных, мои предположения ограничивались кругом тюрьмы, допросов, следствия...

Прошло несколько недель, и от свежих арестантов я узнал, что в городе снова появились афиши, извещающие о предстоящих выступлениях Вольфа Мессинга. И тут меня внезапно осенило. Я представил себе, как кто-то здесь, в Ташкенте, на самом верху наркомата, знакомясь с делом о попытке перехода государственной границы подследственным Мессингом В. Г., вдруг вспомнил слова телеграммы: "Примите мой привет и благодарность Красной армии, товарищ Вольф Мессинг..." И как этот очень высокий вдруг стал совсем маленьким и покрылся холодным потом.

Как это я сразу не догадался! Кто может знать, как отреагирует Генералиссимус, если узнает, как поступили с человеком, которому он выразил благодарность в прессе? Тут не помогут ссылки на наличие несомненного состава преступления — уж Хозяин-то знает, на какие штуки способны его соколы. Как это они там, в заср... Ташкенте посмели обидеть

полезного человека!! И уж Хозяин не скажет, как говорили во времена отсталого царского режима: "А подать сюда Тяпкина-Ляпкина!" Хозяин скажет: "А подать сюда г о л о в у Ляпкина-Тяпкина!"

И там, на самом ташкентском верху, спешно решили бить отбой. Дело замять или обратиться в этукую шутку. Болван Иванов пусть как следует извинится. А этого жида Калининского гнать в шею, чтобы его вонючего духа здесь не было! Или еще лучше: посадить!

Хотя, конечно, может быть, я и ошибаюсь. А что, если ташкентские чекисты с согласия или без согласия Москвы решили, что не следует резать курицу, которая может нести золотые яйца? Ведь у Мессинга через некоторое время можно снова грабануть миллиончик. А кроме того, можно ведь прибрать этого ясновидца к рукам, заставить его верно служить. Ведь его секретное сотрудничество, если им умело манипулировать, может стать просто неоценимым. Или он на самом деле разгадает какую-нибудь тайну, или кто-нибудь ему сам выболтает такое, что до тех пор держал про себя.

А может, он и на самом деле смог в чем-то убедить этих сааковых и гнилощукowych? А может, чем чёрт не шутит, ему удалось их загипнотизировать?

Не знаю, не знаю. Можно строить множество предположений. Но наиболее правдивой показалась мне моя первая догадка о решающей роли телеграммы Сталина. Тем более, что скорее всего Ташкент о деле Мессинга Москве не сообщил, хотя сообщить, как мне думается, был обязан. Правда, мысль об этом пришла мне в

голову только через семь лет, когда я разменял восьмой год срока.

Был конец июня 1950 года. Началась война в Корее. Я в то время вкалывал на 19-м штрафном лагпункте Мордовских лагерей. Ночью меня разбудили и повели к начальнику. Тот, держа какую-то бумажку, вдруг - небывалое дело! - подал мне руку. И торжественно заявил, что меня срочно вызывает Москва. Он считает, что меня освободят, и я смогу вернуться в Польшу.

Сердце у меня, естественно, заколотилось, хотя надо сказать, что этого я уже давно ожидал. Дело в том, что моя сестра была знакома с Владиславом Гомулкой - еще тогда, когда он был мастером на фабрике конвертов во Львове и никто даже во сне не мог себе представить, что он будет генсеком и первым вице-премьером послевоенной Польши. И вот, года четыре назад, где-то в 1946 году, ко мне в Молотовские лагеря на Урале дошло письмо от сестры. Она сообщала, что Гомулка пообещал что-то предпринять для моего освобождения. Потом связь с ней прервалась, - но как-то нарядчик мне шепнул, что лагерное начальство по требованию из Москвы составляет мою характеристику. Начальство, видно, не очень спешило, потому что я продолжал припухать, а тем временем Гомулку обвинили в национализме, сняли со всех постов, а потом посадили, и он стал чуть ли не таким же эком, как я. Но когда я узнал, что меня вызывают в Москву, то понадеялся, что дело, когда-то пущенное в ход Гомулкой, двигалось, так сказать, самотеком и вот теперь дало результат.

Но я ошибся. В Москве мне руку не подали, а стали таскать по Бутыркам и Лубянке. Я даже недолгое время удостоился чести припухать в одной камере с Его Величеством Пу-и, последним китайским, а во время японской оккупации маньчжурским императором! (О нем много лет спустя, в 1987 году, американцы сняли трогательный и красочный фильм, получивший 9 международных наград и принесший громадные барыши.)

Лишь через месяц меня вызвал мой следователь капитан Кожухов и представил мне какого-то полковника Рублева - якобы начальника контрразведки СССР. Полковник вел себя корректно, и я сперва подумал: это оттого, что он разведчик, а не профессиональный чекист. Он говорил обиняками, и я долго ничего не понимал, пока по его туманным намекам не сообразил, что ему очень льстит знакомство со столь выдающимся западным разведчиком, как я. Он ознакомился с моим делом: даже смешно, что человека моего масштаба осудили за мнимый шпионаж в пользу какой-то задрипанной Польши...

Он все тянул свои трели-морели, а я, распахнув хайло и развесив уши, пытался сообразить, вокруг чего он разводит всю эту хитромудрию. И в конце концов понял: до моего ареста я, оказывается, был ни больше, ни меньше как одним из главных резидентов британского Интеллидженс сервис на всю Среднюю Азию! Я не знал, плакать или смеяться. Но поскольку полковник Рублев меня не бил, на меня не орал и - даже трудно поверить! - не матерился, я стал защищаться по существу. Обвинения были абсурдны, чувствовалось, что

кто-то сильно морочит советскую контрразведку высосанной из пальца информацией. Атмосфера допроса была чуть ли не кафкианская, и я охотно бы передал ее подробнее, если бы не опасался, что оторвусь от феномена Вольфа Мессинга.

Через несколько дней Рублев объявил, что мне предстоит очная ставка с человеком, который обещает меня обличить и прижать к стене прямыми доказательствами. Обличителем оказался Абраша Калинин! Прямо как в плохой кинокартине: все один и тот же отрицательный тип. Вид у него был довольно потрепанный, одет он был в какие-то военно-тюремные лохмотья, а по столь знакомой мне желтизне и отечности лица можно было без труда определить, что славный деятель много лет провел за решеткой у парашаи.

Признаюсь – сладостен был мне вид злодея, попавшего в яму, которую он копал другим! А из его туманных речей я понял: на этот раз Калинин наговаривает на самого себя! По его словам, он много лет был агентом Интеллиженс сервис, одновременно ловко маскируясь под профессионального советского сексота. Он без конца ссылался на какого-то сэра Джорджа, упоминал даже город Мары в Туркмении. В его рассказе то я был его подчиненным, то он – моим. Калинин городил такую околесицу, что я, несмотря на всю опасность положения, стал смеяться.

Наконец Рублев грубо выругался, велел увести провокатора и проветрить кабинет. Потом заговорил со мной совсем иным тоном. Из его слов и из того, что я впоследствии слышал от бывших сокамерников Калининского по

Лубянке, мне удалось в общих чертах восстановить историю его падения. Она – наглядный пример того, что даже самое рьяное стукачество, даже очень прибыльное вначале, часто в конечном счете кончается у парашаи.

Весной 1943 года, после истории с Мессингом, Калининского убрали из Ташкента. Генерал-майор НКГБ Жуков велел одеть его в форму польского капитана и перебросил в Сельце на Оке, где формировалась новая польская армия с полковником Берлингом и писательницей Вандой Василевской во главе. В ее командный состав входили кадровые советские офицеры польского происхождения и старые польские коммунисты, чудом оставшиеся в живых после чисток. Среди этих людей в организационном лагере и должен был продолжать свою славную деятельность Калининский.

Но одно – нанизывать на кукан бежавших их Польши необстрелянных поляков и евреев и обводить вокруг пальца телепата из Горы Кальвария, а другое – пытаться спровоцировать стреляных воробьев, прошедших огонь, воду и медные трубы. "Капитана" быстро раскусили и демонстративно бойкотировали. Оконфуженный Калининский, понимая, что здесь на его крючок не только никто не попадет, но могут в темном углу и пристукнуть, дал дёру в Москву, где стал выдавать себя за польского военного атташе. После нескольких скандалов он настолько осточертел своим хозяевам, что они решили от него избавиться, запрятав как "социально-опасный элемент" (СОЭ) в исправительно-трудовую колонию в Ховрино по статье 35 УК.

В отместку Калининский решил ни больше, ни

меньше, как скомпрометировать Советский Союз и дважды пытался отправить на Запад через свою бывшую сожительницу Татьяну Златого-рову какие-то материалы, компрометирующие советских дипломатов. Затея эта обошлась ему дорого - в общей сложности пятнадцатью годами одиночного заключения в специзоляторах. Одно время ему угрожал расстрел и безнадежно запутавшийся обладатель "государственных тайн" летом 1950 года додумался обмануть смерть, добившись открытия нового дела и перевода в следственную тюрьму. Он заявил, что много лет был агентом Интеллидженс сервис и готов раскрыть целую сеть своих бывших коллег - английских агентов. Их список он составил из фамилий своих жертв, которые, как он не без основания надеялся, давно уже погибли в лагерях.

Но я, как бы это ни было для Калининского прискорбно, чудом остался в живых, из обвиняемого стал свидетелем и в течение долгого времени рассказывал следователям Лубянки об "успехах" Калининского среди поляков и евреев в Ташкенте.

Стоит, между прочим, обратить внимание на то, что эти его художества легли в основу вышедшего в 1974 году в Ташкенте романа "Цвет восточного неба". Автор, ведущий писатель Узбекистана Борис Пармузин, получил допуск к следственному архиву тридцатилетней давности и был поражен обилием дел против поляков в 1941-1943 годах. Все эти дела были результатом неумолимой деятельности одного и того же человека - Абрама Калининского, который фигурирует в книге под фамилией Тадеуша Дальского, "пламенного польского патриота и

мужественного советского разведчика". Именно так рекомендует его генерал-лейтенант Алексей Бессчастнов, председатель КГБ Узбекистана в предисловии к роману, подтверждая подлинность подвигов Калининского-Дальского...

Однако мне пора вернуться в кабинет следователя Кожухова на Лубянке - и в август 1950 года. Как-то этот молодой капитан спросил, не знаю ли я, зачем в действительности ездил Калининский в туркменский город Мары, где мы с ним якобы встречались с одним из начальников английской разведки, таинственным сэром Джорджем.

- Насколько мне известно, - ответил я, - Калининский туда ездил, чтобы довести до конца организованную им провокацию с нелегальным переходом в Иран Вольфа Мессинга.

У следователя округлились глаза и он велел повторить, - может, ему показалось, что он ослышался. Я повторил подробнее, а на вопрос, откуда я все это знаю, сослался на рассказ Мессинга в камере № 13. Капитан внимательно слушал, в протокол, однако, уже больше ничего не вносил.

На следующий день меня в кабинете следователя ожидало несколько высоких чинов. По их требованию я снова во всех подробностях рассказал, как Калининский заманил одураченного им Вольфа Мессинга в воображаемую "лесную сторожку" на иранской границе. Они внимательно слушали, обменивались быстрыми взглядами, несколько раз прыскали со смеху - смешили их не козни Калининского, а святая простота знаменитого ясновидца. Протокол и на этот раз не велся.

Я подумал: они хорошо знают, что Калининский возводил ложные обвинения и провоцировал, знают, что людей сажали без причины. Что меня тоже посадили ни за что. И решил попытаться счастья. Администрация Лубянки выдавала раз в месяц листок бумаги, ручку и чернила каждому подследственному, желающему подать жалобу или заявление в любую инстанцию. Я обратился к министру госбезопасности - им тогда, кажется, был расстрелянный впоследствии Абакумов - с просьбой: в связи с провокаторской по отношению ко мне ролью Калининского пересмотреть мое ташкентское дело и отменить приговор.

Через неделю меня вызвал какой-то полковник и сообщил, что дело мое оставлено без последствия. И голосом богини Справедливости добавил:

- Даже если вы и невиновны в том, за что вас осудили, то вас надо держать в заключении хотя бы уже потому, что вы слишком много знаете о Калининском и Мессинге!

После того как я в камере несколько оправился от столь откровенно и просто выраженной чекистской логики, мне пришло в голову, что полковник не указал мне подлинной причины отказа пересмотреть мое дело. Слишком много я знал не только о Калининском и Мессинге. По любопытству, проявленному высокими чекистскими чинами, я мог догадаться, что дело это в Ташкенте замазали и в Москву не сообщили. То есть я был свидетелем скрывания ташкентскими чекистами немаловажного дела от главных московских чекистов! Знать такое для рядового зэка действительно "слишком много".

Но могло быть и похуже, продолжал я рассуждать задним числом, — тут, в Москве, могли знать всю суть дела Мессинга. Но не все, а только те, "кому ведать надлежит". И если это так, то Мессинга будут оберегать от всяких свидетелей — он, скорее всего, чем-то им очень полезен. В таком случае мне совать туда свой нос было смертельно опасно!

И возблагодарив Бога за то, что кто-нибудь из этих важных и вежливых чекистов не предложил добавить мне срок, или посадить в одиночку, или просто прикончить, я отправился в Потьму досиживать свой "червонец".

\* \* \*

А между тем и в лагерь постепенно доходило, что феномен Вольфа Мессинга стал принимать чудовищные размеры. Поездки с "психологическими опытами" продолжались. Афиши, сообщающие о прибытии телепата всесоюзной славы как в крупных городах, так и в поселках Сибири, собирали у касс толпы, так и пёршие напролом, чтобы воочию убедиться, как Вольф Мессинг безошибочно читает человеческие мысли. Госгастрольное бюро организовало специальное выступление для научных работников, для работников искусства, для рабочих новостроек и металлургических комбинатов, для военнослужащих, для колхозников, — везде, где только можно. Большие деньги за билеты лились рекой. Через год после того как телепат был освобожден из тюрьмы, страну облетело известие о его новом высокопатриотическом поступке: Мессинг подарил Армии



распространялся и, естественно, не был заинтересован, чтобы в нем копались. Вероятно, он считал, что достаточно в его подноготной покопались майор Сааков и капитан Иванов, а может, и кто покрупнее.

Однако нашелся человек без военного звания, едва не заработавший на прошлом Мессинга изрядный куш. Михаил Васильевич Хвастунов, писавший под псевдонимом "М. Васильев" и известный в Москве как "Михвас", был видным журналистом и ловким "популяризатором" в разнообразных отраслях науки. Он выпустил большую серию "Человек и Вселенная". С Вольфом Мессингом же он встретился, когда составлял брошюру "Человек наедине с собой". Незадолго до этого вышла и пользовалась большим успехом книга воспоминаний популярного в Советском Союзе иллюзиониста Михаила Куни, человека, тоже овеянного легендой.

Хвастунов сообразил, каким бестселлером могла бы стать книга Мессинга о самом себе. Но поскольку Мессинг был полуграмотен, а в русском языке более, чем слаб, был заключен договор, по которому Хвастунов выговорил себе восемьдесят процентов всех гонораров за "литературную обработку" материала (!).

Он затворился с Мессингом в своей подмосковной даче и там в течение недели пытался выжать из того хоть какие-нибудь маломальски сенсационные воспоминания. Но воспоминания Мессинга, как мы знаем, вовсе не соответствовали его всесоюзной славе и ходившим о нем легендам. Надо было изобрести новую биографию о блистательной карьере, которая началась не в Белостоке в 1939 году, а, как у Геракла, чуть ли не с пеленок - бла-

го ремесло фальсификации биографий для знатных особ в Советском Союзе широко распространено.

И вот Михвас стряпает невероятный комикс под названием "Вольф Мессинг - о самом себе". Вся жизнь Мессинга представлена там как вереница чудесных и чреватых последствиями встреч. Когда маленький Вольфеле был еще в хедере, писатель Шолом-Алейхем предсказал ему блестящее будущее. Тринадцатилетним мальчиком он бежал в Германию, где быстро прославился как ясновидец. В 1915 году в Вене он запросто бывал у отца психоанализа профессора Зигмунда Фрейда, в доме которого резвился с Альбертом Эйнштейном и "выщипывал волосики из его пышных усов" - по мысленному внушению хозяина. Потом он совершил большое триумфальное турне по всем, какие только существуют, странам мира. В 1927 году в Индии он, естественно, подружился с борцом за ее независимость Махатмой Ганди, который даже в течение какого-то времени был его индуктором.

В Польше Мессинг - иначе и быть не могло - вращался среди самых сливок аристократического общества и его часто вызывал диктатор маршал Пилсудский и другие руководящие страной лица - чтобы получить компетентные советы в делах государственной важности. В 1937 году, выступая в Варшаве, он предсказал поход Гитлера на Восток, а также его гибель - после чего за ним начало охотиться гестапо и объявило за его голову премию в двести тысяч марок. В 1939 году, благодаря своим сверхъестественным способностям, он вырвался из гитлеровских застенков и очутился в Со-

ветском Союзе. Там он начал выступать, а в 1940 году, как раз когда он был в Гомеле, Сталин, узнав о его прибытии в СССР, послал за ним – не сорок ли тысяч? – курьеров. С тех пор Мессинг становится в Кремле своим человеком и часто встречается с гением всех времен и народов.

Ко всему этому стоит добавить, что Михвас иностранных языков не знал, на Западе никогда не был и специфика тамошней политической и общественной жизни была ему неизвестна, правдоподобно же фантазировать он не сумел. Все произведение было состряпано в стиле, "как это себе представляет маленький Вася". Читателей Михвас, по-видимому, считал идиотами, которые примут все за чистую монету; о редакторах советской печати он был такого же мнения. Чтобы придать "воспоминаниям" Мессинга вес, Михвас наспиговал их псевдонаучными вставками из своих же брошюр. Этим должно было быть создано впечатление, что автор воспоминаний глубоко ученый человек и знает, что говорит, когда рассуждает о психологии, психоанализе, магнетизме, гипнозе, оккультизме... Это также, что не менее важно, увеличивало количество печатных листов.

Отдельные главы и отрывки "воспоминаний" Мессинга начали публиковать журналы "Смена", "Спутник", "Байкал", "Ставрополье" и газеты "Литературная Россия", "Московский комсомолец", "Правда Востока" и другие. А выпускаемый большим тиражом – что-то около трехсот тысяч – популярный журнал "Наука и религия" напечатал эти "воспоминания" в пяти громадных отрывках.

В 1955 году издательство "Советская Россия" объявило, что в 1956 году "воспоминания" выйдут громадным тиражом. Но вдруг произошла осечка. Многим была очевидна "липа" "воспоминаний". Знали в Москве и о кабальном договоре ясновидца с журналистом – но кому было до этого дело? Вмешались те, на кого никак не указывал, не намекал даже многоопытный Михвас, но кто, как надо полагать, всегда вроде бы стоял за спиной Вольфа Мессинга. Это не более, чем предположение, но характерно, что – как мне рассказывали люди, хорошо это дело знавшие – запрет на книгу и на дальнейшие публикации "воспоминаний" был решительный и никаких аргументов не приводилось.

Таинственность этой акции, как мы увидим, добавила таинственности и самому Вольфу Мессингу и значительности его биографии.

Конечно, больше всех был огорчен Мих. Вас. Хвастунов: главный гонорар так и не дался в руки.

Но вдруг литературный подкидывш Михваса, казалось бы посрамленный и сведенный на нет, налился соками и зажил новой жизнью, сверкая и переливаясь выдумками своего папы. Усугубляло этот сюрприз обстоятельство, что произошло это не в Советском Союзе, где общественность лишена возможности свободно и критически во всем разбираться, а потому есть где, казалось бы, развернуться и святой простоте и глубокому невежеству. Произошло это на просвещенном и скептическом Западе, где очень и очень многие уверены, что их-то на мякине не проведешь.

Началось это так.

В середине шестидесятых годов специалисты ряда институтов на Западе, в особенности в США, заговорили о том, что советское правительство уделяет все больше внимания парапсихологии, главным образом телепатии, с помощью которой оно намерено со временем наладить связь с экипажами подводных лодок, выполняющих специальные задания, а также с космонавтами на орбите. Кроме того, КГБ с помощью телепатии якобы стремилось когда-то осуществить свою заветную мечту: научиться читать мысли политических противников, диссидентов, раскрывать агентов иностранных разведок...

В определенных западных кругах среди любителей сильных метафизических ощущений резко возрос интерес к испытаниям, производимым якобы в этой области в Советском Союзе. И вот, надеясь, что им удастся "вложить персты", две ученые дамы, Шейли Острендер и Линн Шредер, сотрудницы Американского общества психологических исследований, в 1967 году отправились в Москву для участия в конгрессе, посвященном парапсихологическим исследованиям. Они очень надеялись выяснить, какими методами коммунисты проникают в парапсихологические тайники.

Результаты этой поездки можно найти в объемистой книге "ПСИ - научное исследование и практическое использование сверхчувственных сил духа и души за Железным занавесом". В этом "эпохальном" произведении, вышедшем в 1970 году в издательстве "Бентем Бук", к 1980 году выдержавшему пятнадцать тиражей и переведенному на многие языки, наиболее весомая, четвертая, глава - совсем как

в пресловутом сталинском "Кратком курсе истории ВКП(б)" – целиком посвящена Вольфу Мессингу. Озаглавлена она: "Вольф Мессинг, медиум, с которым экспериментировал Сталин".

Эту главу авторши почти дословно заполнили переводом комикса Михваса в варианте, напечатанном в журнале "Наука и религия". Подлинность описанной там биографии Мессинга для пытливых дам – вне всяких сомнений. Гарантию же этого они усматривают в том, что несмотря на политическую цензуру и на то, что официальная линия журнала – атеистическая, журнал эту вещь, тем не менее, опубликовал. Правда-истина преодолела все препоны! Авторш приводят в восторг самые дикие выдумки Хвастунова. В поисках желаемых результатов американские дамы провели несколько разговоров со своими коллегами – советскими учеными, фамилии которых они почему-то предпочли не упоминать. Встречались они также с какой-то подругой одной из внучек Сталина. Их собеседники рассказывали, что по приказанию Сталина с Мессингом проводился целый ряд нигде пока не опубликованных экспериментов. Один из них состоял вот в чем: всемогущий Мессинг появился без разрешения и пропуска на сталинской даче в Кунцево, внушил охране, что он – Берия, и был тут же пропущен к диктатору.

Хотя об источниках информации не названных авторшами словоохотливых советских ученых нам ничего не известно, но мы хорошо знаем, что сам Мессинг избегал всяких интервью и высказываний, предпочитая помалкивать. Можно предположить, что какие-то обстоятельства заставили его войти в контакт с Михва-

сом, обещать ему 80% гонораров и отправиться на его дачу, чтобы там прикинуться еще более косноязычным, чем он был на самом деле. Однако сама мысль о том, что Мессинг встречался со Сталиным и Берией, не лишена некоторой доли вероятности. В ней отражена суть государственного мистицизма сталинской империи. Того мистицизма, который, как мы знаем, был присущ и главарям Третьего рейха. Один мой знакомый, знаток советской действительности, как-то сказал: "Вульгарный материализм — лучшая почва для примитивной веры в потусторонние силы. Вспомним хотя бы удивительную карьеру прославленной Джуны и ее связь с Брежневым".

Большое впечатление на авторш "ПСИ" произвела беседа с заведующей конторой Интуриста в Москве. Та рассказывала о Мессинге с таким увлечением, будто речь шла об игре Святослава Рихтера или танце Галины Улановой. К концу разговора, правда, оказалось, что товарищ из Интуриста сама лично Мессинга никогда в глаза не видела. Да и видеть никак не хотела: ужасно боялась, что он тут же прочтет все ее мысли, — а она этого терпеть не может!

С пониманием отнеслись дамы и к сообщению, что Вольф Мессинг никогда не соглашался подвергаться каким-либо обследованиям — ведь для этого у него просто никогда не было времени. Оно все было занято гастрольными поездками. А кроме того, не следует забывать, что люди такого профиля и масштаба весьма эмоциональны. Поэтому заморские дамы несколько не обиделись и не разочаровались, что им не удалось лично поговорить с теле-

патом. Для них было достаточно выслушать ряд восторженных о нем отзывов и получить его правдивую автобиографию в пяти номерах атеистического ежемесячника. Их добыча оказалась бесценной уже в том плане, что принесла им немалое состояние.

Их доказательство при помощи ссылки на обойденную политическую цензуру, правда, дало трещину. В завершение захватывающего рассказа им пришлось добавить: "После сообщения, что автобиография Мессинга будет выпущена издательством "Советская Россия", книга была неожиданно изъята, хотя надо полагать, что ее рукопись циркулирует в народе. Быть может, некоторых высокопоставленных деятелей встревожило, что будет оглашено и разоблачено слишком много "чудес". А может быть, Мессинг рассказал слишком много из жизни партийной верхушки. Не исключено, что запрещение этой публикации лишь один из признаков того, что время оттепели проходит. Насколько нам известно из ближайшего окружения Мессинга, и остальные главы этой книги отнюдь не безынтересны".

В Германии произведение американских дам было опубликовано в 1970 году издательством "Шерц" и выдержало в том же году восемь (!) тиражей. Широкая читательская общественность жаждала правды...

Но следует ли судить их так уж строго? Невероятную наивность по отношению к тому, что происходит в Советском Союзе, проявляют не только увлеченные парапсихологией дамочки, но и многие важные западные деятели, которым такой наивности проявлять не следовало бы. Удивительно то, что не менее наивными оказа-

лись некоторые проживающие на Западе вполне серьезные люди, родившиеся и выросшие в Советском Союзе. Профессор одного из университетов в Калифорнии, по национальности русский и в прошлом советский разведчик, продолжительное время занимался вопросом использования Советским Союзом парапсихологии для государственных целей. Получив информацию, что в Израиле якобы живет брат Мессинга, он направился туда, чтобы получить сведения из верного источника.

В журнале "Тайноведение" № 7 за 1983 год, выходящем в Израиле, можно прочесть, что ближайший родственник Мессинга "...хорошо помнит неоднократные вызовы брата из гостиницы "Москва", где тот жил, в КГБ и в Кремль; о боязни брата что-либо рассказывать об этих контактах; о запугивании брата со стороны КГБ угрозами на случай, если он что-либо расскажет посторонним об этих контактах".

Заинтересованный появлением неизвестных мне подробностей биографии моего героя, я разыскал этого человека. Оказалось, что он не брат, а однофамилец Мессинга и никогда в Горе Кальвария не был. Однако он считает себя если уж не родным, то двоюродным братом: по его мнению, все Мессинги из Польши должны быть родичами. Увы, вспомнил я, - такого же мнения был следователь Иванов, пытавшийся пришить Вольфу родство с расстрелянным Станиславом Мессингом!

Израильский "брат" признался, что, будучи в Москве, пытался сойтись с Вольфом поближе, - но тот с ним даже говорить не захотел. А на мой вопрос - откуда же он так

хорошо знает о контактах Вольфа с КГБ и Кремлем, он удивленно ответил:

- Вы что, "ПСИ" не читали?

\* \* \*

Меня всегда поражает и огорчает, что никто, даже люди, в иных случаях готовые скрупулезно и подробно изучать предмет, не пытаются проверить подробности биографии столь знаменитого сына Горы Кальвария. Ведь до перехода в Советский Союз Мессинг сорок лет прожил на Западе и, если верить Михвасу и пересказу его опуса в "ПСИ", был всемирно известен уже в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия. Должны же были сохраниться хоть какие-нибудь отклики в прессе того времени? Ведь о других ясновидящих и прорицателях тогда, как и сегодня, писалось немало статей, а бульварная пресса посвящала и посвящает им нередко первые полосы. Ну, могут сказать, что с Пилсудским Мессинг встречался тайно. Но неужели не поместили бы ни строки о выступлениях, где его индуктором был якобы не кто иной, как Махатма Ганди?

В поисках материалов я обратился в Гору Кальвария. Но, увы, из четырех тысяч моих земляков, которых гитлеровцы там захватили, они убили всех - чудом спаслись лишь двое.

Один из них, Феликс Карпман, помнил только, как он мальчишкой, с ватагой другой сорванцов, приставал на улице к Вольфу, вопя "Мессинг, Мессинг, погадай!".

Другой, ушедший от немцев в партизаны Генрих Прайс, мой ровесник, знал Мессинга

лучше. Он запомнился ему как тихий, никому не мешавший человек с ухватками старого холостяка, одевавшийся как франт, чтобы создать видимость, как, мол, ему хорошо живется. О жизни и славе Мессинга в Советском Союзе Прайс никогда ничего не слышал.

Сразу после войны из сибирской ссылки в Польшу вернулись двоюродные братья Вольфа, Йосек и Лейзе Мессинги. Они, как я уже сказал, жили в такой глуши, до которой слава их родича не докатилась, и ничего о нем тоже не знали. Из Польши они вскоре уехали в Бруклин. Сам Вольф Мессинг в Гору Кальвария никогда не писал и оттуда о нем никто не справлялся.

Основатель местного музея и летописец Горы Кальвария, отставной директор гимназии Эдвард Махроцкий, написал мне:

"Ни в отделе записей актов гражданского состояния, ни в списках учеников местных школ я нигде имени Вольфа Мессинга не нашел. Но тем не менее, моя жена и я хорошо помним одно его интересное и удачное выступление в нашем городе. Он дал тогда сеанс гипноза и телепатии. После войны я никогда ничего о нем не слышал".

Польский писатель, автор научно-популярных книг, он же председатель Общества обнаружения подпочвенных вод, Лех Эмфазы Стефанский из Варшавы в соавторстве с Михаилом Комаром выпустил в 1983 году книгу "От магии до психотроники". Разбирая всякие "сверхъестественные явления", авторы пишут обо всех известных польских медиумах нашего времени. Вольф Мессинг в их книге упоминается один-единственный раз в следующем контексте:

”Теофик Дадашев, студент университета в Баку, считается после смерти Вольфа Мессинга в 1974 году, лучшим в мире приемником телепатии”.

На мой запрос, почему он уделил так мало места своему столь славному земляку, Стефанский, родившийся в 1928 году, ответил, что ввиду своего возраста до войны слышать о Мессинге не мог, а после войны он в Польше никогда не встречал какого бы то ни было упоминания о нем. Только от меня он вообще узнал, что Мессинг родился под Варшавой и до 1939 года жил в Польше. Произведения Хвастунова Стефанский не читал.

Получается, что на Западе лишь читатели ”ПСИ” да некоторые эмигранты из СССР знают, что был на свете такой Мессинг.

\* \* \*

Странным образом во всем, что прикасается к феномену Вольфа Мессинга, трагическое шагает в обнимку со смешным, предлагая на выбор: хочешь – плачь, хочешь – смейся до слез.

Жила в Москве скромная журналистка Татьяна Лунгина. Случилось так, что она подружилась, почти сроднилась с Вольфом Мессингом, искренне в него поверила, как в ”человека не только необычайной судьбы, но и загадочной души, с мистическими всплесками, до сих пор окутанными ореолом таинственности и легенд”.

”В течение двадцати лет, – пишет она, – я, чья жизнь проходила бок о бок с жизнью Мессинга, вела скрупулезные записи всех мельчайших обстоятельств жизни, самых мимо-

летных впечатлений, хоть как-то относящихся к жизни Вольфа Григорьевича... Ведь не секрет, что его знали многие сотни людей во всем мире... Восторженные и правдивые рассказы, передававшиеся из уст в уста, постепенно обрастали фантастическими выдумками и превращались в рассказы... Очистить образ и историю жизни Вольфа Григорьевича от таких домыслов и было одной из задач этой книги”.

Книга, о которой говорит госпожа Лунгина, написана ею после смерти Мессинга и после того, как она в конце семидесятых годов эмигрировала в США. Там госпожа Лунгина, послушав совета друзей, решила ”создать эффектный и броский бестселлер”.

Однако для бестселлера двадцатилетних скрупулезных записей оказалось маловато, и автор – очевидно, чтобы наилучшим образом очистить образ и историю жизни Вольфа Григорьевича – решила обогатить собственный текст, вставив в него чужой: все то же немеркнувшей славы сочинение Михваса, который к тому времени тоже окончил свой жизненный путь. Ни словом не упоминая о подлинном авторе, госпожа Лунгина придала сочинению Михваса лишь несколько иную форму, форму личных рассказов Мессинга.

Итак: во время отдыха у моря он вдруг раздражался многочасовыми монологами о чудесах, сопутствовавших его жизни, о путешествиях по всему миру, о встречах со знаменитыми людьми нашей эпохи. Монолог свой он сопровождал длинными научными рассуждениями...

А его слушательница все это потом записывала слово в слово. Задача не из легких,

если учесть, что, как признает госпожа Лунгина, "Вольфа Мессинга было трудно понимать. Русским он владел неважно, а потому приходилось напрягать внимание, чтобы пробиться сквозь языковую неразбериху".

Кстати, ни Хвастунову, ни госпоже Лунгиной не пришло в голову узнать у Мессинга, на каких языках он объяснялся с мировыми знаменитостями, — ну, например, с тем же Махатмой Ганди. По-польски? Или на идиш?

Ценой больших усилий и жертв удалось автору накопить средства и найти русское издательство, готовое опубликовать книгу. В конце концов она вышла — и оставалось только ждать восторженных отзывов и договоров на иностранные переводы.

Но получилось все, как в известном анекдоте о русской семье, которая прибыла в США без знания языка и, не умея разобрать что к чему, долгое время питалась консервами для кошек и собак.

Так и достойная сожаления госпожа Лунгина, несколько освоившись в США, вдруг узнала о существовании "ПСИ", о ее громадных успехах и о том, что ученые дамы Острендер и Шредер немеркнувшей славы сочинение Михваса вставили в свой текст за двенадцать лет до нее!

Скрепя сердце, пришлось дописать, — но не в книге, которая, по-видимому, уже была отпечатана, а на последней странице обложки:

"Часть записок Т. Лунгиной послужила в свое время основой автобиографического очерка Мессинга, опубликованного в журнале "Наука и религия" и использованного затем в четвер-

той главе знаменитой книги...” Далее следовали выходные данные ”ПСИ”.

Однако несмотря на все ее, мягко говоря, недостатки, книга Т. Лунгиной ”Вольф Мессинг – человек-загадка” несколько пополняет наши знания о Мессинге. Правда, загадок она не отгадывает, а лишь их усугубляет и наводит на размышления: кому все-таки нужен был феномен Вольфа Мессинга? И почему, при внешней благосклонности к нему властей, телепата на самом деле – если верить его приятельнице – держали в черном теле?

Госпожа Лунгина рассказывает, что в 1944 году закоренелый старый холостяк Вольф Мессинг женился. Якобы однажды, прямо после выступления, за кулисы явилась, судя по имеющимся фотографиям, немолодая, грузная бой-баба – Аида Михайловна Рапопорт. С места в карьер она разбранила манеру вступительного слова. А всего через два дня она уже сама вела программу Мессинга. Странно, если вспомнить, как трудно сходилась он с людьми.

Необычайно скоро она стала его женой и непременным помощником. Мастер избавился от одиночества, но вряд ли он обрел спокойствие. У подарившего Красной Армии два боевых самолета человека не было собственной квартиры и молодоженам разрешили снять номер в столичной гостинице ”Москва”. Там они и прожили четыре года – втроем: после снятия блокады с Ленинграда к ним вселилась чудом уцелевшая и тяжело больная сестра Аиды, Ираида Михайловна, которая до самой своей смерти осложняла жизнь Мессингу, даже после того как он овдовел.

Мессингам выделили квартиру только в 1948 году. Если действительно, — как пишет Т. Лунгина, — ”по личному распоряжению Сталина”, то нельзя не прийти в крайнее удивление. Мы знаем, что если Сталин шел на такой шаг, то он, заботясь о создании вокруг себя легенды как о добром и щедром вожде, не скупился. Достаточно вспомнить его жест по отношению к вундеркинду-скрипачу Бусе Гольдштейну. Квартира же всесоюзной славы телепата и миллионщика, удостоившегося личной благодарности вождя, состояла из крохотной комнаты с кухонькой. И ютились в ней — сам Мессинг, его жена, ее сестра, прикованная к креслу-кровати, да еще громадная овчарка. Когда Аида Михайловна в 1960 году смертельно заболела раком, в квартире у постели умиравшей еще постоянно находилась медицинская сестра.

Квартира была на Новопесчаной улице. Утверждение Т. Лунгиной, что это далекая окраина и что туда надо было добираться полтора часа от последней остановки метро ”Белорусская”, следует поставить под сомнение. По словам московских старожилов район этот фешенебельный, заселенный деятелями науки и искусства, а также высокими военными чинами; кроме того, рядом остановка метро ”Сокол”.

Миниатюрность квартиры Мессинга Т. Лунгина объясняет тем, что Мессинг был противником ”блата”, никогда пользы из своей славы не извлекал и не желал выпрашивать у государства приличного жилья. И только в 1972 году, за два года до смерти, на помощь к нему пришла одна из почитательниц, служащая

Министерства культуры, и устроила ему покупку двухкомнатной квартиры на улице Герцена, на тринадцатом этаже дома для работников министерства.

Да, несмотря на миллионные прибыли, которые он ей давал, советская власть никогда к Мессингу особенно не благоволила. Скромный юбилей 65-летия, отпразднованный, когда Вольфу было уже 67 лет, одна небольшая награда, заурядное звание "заслуженного деятеля искусств РСФСР" – и это почти все. Роскошная жизнь, о которой он мечтал когда-то, выражалась лишь в золотом кольце с бриллиантом в три карата, с которым он никогда не расставался. Не была ли эта драгоценность одной из тех, что он когда-то приобрел у Калининского? Не должна ли была она ему постоянно напоминать – вовсе не о роскоши, а: будь осторожен, вокруг недруги?

"Ни разу не было и разговора, чтобы съездить хотя бы по туристической путевке в Болгарию или на прежнюю родину – Польшу, которую он помнил и любил до последних дней", – сообщает Т. Лунгина и добавляет две фразы, первая из которых – хвастуновская, а вторая скорее всего верная: "И это казалось особенно странным, если учесть, что первые сорок лет жизни он провел в непрерывных заморских путешествиях. Не исключено, что ключи от тайны держались на Лубянке".

Подтверждает это предположение и то, что, когда в начале семидесятых годов евреям разрешили эмигрировать из Советского Союза, Мессинг, по свидетельству его биографа, "...глядя в пол, тихо и размеренно произнес

фразу: что же касается меня, то меня скорее, уберут, чем выпустят”.

Когда он серьезно заболел эндартеритом, – кровь не поступала в нужном количестве к нижним конечностям, – ему не разрешили вызвать из США бригаду известного доктора Майкла Дебеки, который в 1972 году успешно оперировал по такому же поводу президента Академии наук Келдыша, хотя Мессинг хотел оплатить расходы сам, сколько бы это ни стоило.

При описании имущества после смерти в квартире Мессинга обнаружены сберегательные книжки на общую сумму чуть больше миллиона рублей, не считая процентов, не взятых за последние 10–15 лет. Его друзья якобы никогда не смогли водрузить на его могиле памятник – мешало им в этом якобы Министерство культуры, ибо, как пишет госпожа Лунгина, “...кто-то упорно стремился наложить вето на самую память о нем”.

Чем же Мессинг не угодил советской власти, кто так в нем разочаровался, чьи расчеты он не оправдал?

У меня почему-то упорно не выходит из головы место из книги госпожи Лунгиной, где она восторженно рассказывает о том, как Мессинг в первые послевоенные годы познакомился “...с одной замечательной личностью, сложной душевной конституции, изломанной судьбы”. Речь идет о графе Алексее Игнатьеве.

Из старинного рода графов Игнатьевых произошло немало крупных государственных деятелей, из которых, вероятно, наиболее значителен Николай Павлович, русский посол в Константинополе, участвовавший в подготовке

Сан-Стефанского мирного договора, завершившего в 1878 году русско-турецкую войну и обеспечившего Болгарии, Боснии и Герцеговине автономию, а Сербии, Черногории и Румынии – независимость. Граф Алексей Игнатьев, о котором идет речь у госпожи Лунгиной, родился в 1877 году в семье генерала, командира кавалергардского полка, генерал-губернатора Иркутска, а затем Киева, где он был убит социалистом-революционером. Сын окончил привилегированное училище – Пажеский корпус и Академию генерального штаба. В русско-японскую войну был адъютантом главнокомандующего Куропаткина. Во время первой мировой войны – представителем русской ставки при главной квартире. Одним словом – служил России и поддерживал честь своего рода.

Его "сложная душевная конституция", изломавшая его судьбу, обнаружилась в 1924 году, когда он сдал советским представителям во Франции все хранившиеся у него документы и значительные казенные суммы, за что был принят в советское гражданство и на работу в советское торгпредство. В 1937 году он переехал в Москву.

Но в то время как репатриировавшийся в Советский Союз другой представитель древнего русского рода, всемирно известный критик и литературовед князь Святополк-Мирский в том же 1937 году погиб в сибирском лагере, граф Алексей Игнатьев получил великолепную квартиру в центре Москвы, – по словам госпожи Лунгиной, на Старой площади, – открыл литературный салон и написал мемуары, выпущенные отдельной книгой в 1959 году, через пять лет после смерти автора. Название ее широко

известно: "Пятьдесят лет в строю". Не менее известна и хохма, которую добавляют к этому названию: "...и ни одного дня в бою". Есть и другая, еще более злая переделка: "Пятьдесят лет в строю"... В 1943 году графа Игнатьева произвели в генерал-лейтенанты. За какие именно заслуги? Этого никто из простых смертных не знал.

Вольф Мессинг, как пишет госпожа Лунгина, считал, что у него с графом много общего, хотя бы "скитания по житейским дорогам". Он часто посещал генеральскую квартиру и беседовал подолгу с хозяином, "великолепным собеседником, умевшим и слушать, и рассказывать". О чем могли часами говорить сиятельный, владеющий всеми европейскими языками утонченный граф и полуграмотный и косноязычный фокусник из местечка Гора Кальвария, - одному Богу известно.

А впрочем, может быть, не только Богу. Какой-то свет проливает на эту курьезную связь выявленное во время хрущевской оттепели обстоятельство: Игнатьев был засекреченным высоким чином КГБ, а его квартира - явочным пунктом для избранных агентов.

Я допускаю, что жизнь заставила Вольфа Мессинга быть шарлатаном, что она заставила его подписать определенные обязательства и давать сведения известным органам. Но хочу верить, что продаться окончательно, выполнять гнусные задания, опуститься до уровня провокатора - не позволила совесть. Не в этом ли кроется причина недовольства им советской власти?

В завершение своей книги госпожа Лунгина пишет:

”Быть может, на Западе сейчас уже находится кто-то, кому могла быть известна хоть какая-то крупница тайны Мессинга, лежащей в одной из папок с грифом «Совершенно секретно»”.

Я льщу себя надеждой, что мне, по мере моих возможностей, удалось хоть отчасти раскрыть эту тайну.

Конечно, много к этому мог бы прибавить Абрам Калинин. Но он сидит где-то далеко ...и вряд ли заинтересован в раскрытии правды о своем славном прошлом.

Тех же, кто так и не может понять, как вообще могло возникнуть такое явление, как феномен Вольфа Мессинга, я отсылаю к книге Вильгельма Губиша ”Ясновидцы, шарлатаны, демагоги”\*. Тридцать лет автор исследовал и разоблачал трюки всяких ясновидцев и эстрадных телепатов. Чтобы показать, как человеческие массы охотно верят невероятному, он несколько тысяч раз выступал в роли телепата, чтобы затем настроить людей критически и предостеречь их. Выступал он перед публикой, состоящей из врачей, юристов, педагогов, студентов, доцентов... И опросы, произведенные после его выступлений – до того, как он раскрывал трюки – показали, что около девяноста процентов зрителей было твердо убеждено, что он на самом деле ясновидец.

Автор предисловия к книге Губиша, известный психолог профессор И. Виттман, пишет:

”Если бы он (Губиш – И. Ш.) стал ясновид-

---

\* Wilhelm Gubisch. Hellseher, Scharlatane, Demagogen? – München-Basel: Verlag E. Reinhardt 1961.

цем-профессионалом, ему было бы нетрудно нажать себе большое состояние с помощью шарлатанства. Но он предпочел тяжелый и неблагодарный путь раскрытия правды о том, что всякого рода "маги" своим успехом обязаны только великому доверию людей. Люди стремятся быть обманутыми - сознательно или подсознательно".

\* \* \*

Вольф Мессинг мистифицировал людей сознательно - без этого не мог бы существовать жанр, в котором он работал. Пройдоха Михвас замахнулся шире - из славы Мессинга стараясь извлечь для себя немалую выгоду. Однако измышления Михваса придали славе Мессинга политический оттенок: всемирно известный ясновидец отказался, мол, от буржуазного Запада и стал пламенным советским патриотом. Он, де, хотя и мог бы снова покорять все столицы мира, но не хотел покидать свою новую родину, Советский Союз! Как поется в примитивной песенке, состряпанной для советских моряков: "А я остаюсь с тобою, родная навеки страна! Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна!"

Этот обычный прием советской пропаганды загадок в себе не таит. Загадка, и немалая, в том, почему определенные круги на Западе приняли версию Михваса, не пытаясь даже проверить достоверность подброшенных им сказок, что было бы совсем не трудно. Не пора ли авторам и издателям "ПСИ" извиниться за то, что они годами вводили и вводят читателей

в заблуждение? Если же, цитируя вранье Мих-васа, они знали, что это вранье, — то какие таинственные цели они при этом преследовали?

\* \* \*

Я уже собирался завершить мое повествование о встрече с Вольфом Мессингом и робкую попытку анализа его загадки и феномена, как дело неожиданно обернулось новой стороной. Вследствие "перестройки" несколькими моим хорошим знакомым, которых я не видал уже много лет, удалось побывать на Западе. Поскольку я знал, что они имели какое-то отношение к Мессингу, мне было интересно поговорить с ними о моем герое. Тем более что, как уже было сказано, после совместного пребывания в ташкентской тюрьме я его больше не встречал, а только читал, что о нем писали.

Беседы с моими знакомыми, любезно согласившимися ознакомиться с рукописью, оказались для меня весьма полезными и пролили новый свет на личность Мессинга. Как оказалось, мне было неизвестно, что он до конца жизни испытывал чувство страшного одиночества. В своей тюремной исповеди он несколько раз намекал, что во время гастрольных поездок его одолевало это чувство, но я не знал, что с годами, — несмотря на успех и все возрастающую славу, — оно все усугублялось.

"Он всегда казался мне маленьким человечком и главное впечатление от него — запуганность и униженность, — сказал мне многоопытный, знающий людей, человек. — Мессинг как будто всю жизнь умирал от страха. Сей-

час, когда я узнал, что с ним проделали в Ташкенте, мне легче понять причину этого. От одиночества он пытался избавиться поздним супружеством, отсюда и согласие на обременительное сосуществование со свояченицей. Он был рад и сиделке и даже собаке, чтобы только не оставаться наедине с самим собою”.

Мои собеседники находили в моем подходе некоторую предвзятость и излишнюю эмоциональность, что, говорили они, вполне понятно, когда дело касалось Калинского. Но ведь главные виновники не Калинский и чины госбезопасности, с которыми он сотрудничал. Они были бы невозможны, их бы вообще не было, если бы не было создавшей их системы. Вольф Мессинг был жертвой системы – одной из миллионов жертв бесчеловечной советской системы.

Затем мои собеседники упрекнули меня – и, я думаю, справедливо – в том, что все, что делал во время своих выступлений Мессинг, я свожу к трюкачеству, – хотя сам на этих выступлениях никогда не присутствовал, если не считать смутного воспоминания школьных лет. Тот факт, что он так легко попался на провокацию, в какой-то мере, особенно в глазах обывателя, может его компрометировать. Но отнюдь не дисквалифицировать: страстное желание покинуть страну, ”в которой нельзя жить”, могло заглушить предчувствия и затемнить ясность внутреннего видения. Дело в том, что широко известны – отнюдь не из ”баек” и сплетен, а из серьезных и достоверных источников, факты, когда Мессинг проявлял гипнотические и телепатические способности. Еще живы свидетели, знающие об этом по своему личному опыту.

И еще рассказали мне такое, о чем я никак не подозревал. В моем представлении у Вольфа Мессинга, человека нелюдимого, женщины всегда были где-то на заднем плане: короткий эпизод с белостоцкой Симой и спокойная жизнь под боком властной супруги – и всё. Но мне рассказали, что он вовсе не был полубесплотным существом, а не прочь был и пофлиртовать и вступить в связь с увлеченной им поклонницей.

Рассказали мне также, что Мессинг всегда – и до самых последних дней – в свои выступления вкладывал себя всего и просто "душу из себя выматывал". И что страх и волнение, о которых он когда-то мне говорил, никогда его не оставляли. "От страшного напряжения, – рассказывали мне, – он на сцене невероятно потел: по нему прямо потоки текли".

И уж совершенно неожиданно я узнал кое-какие подробности о приключениях Абраши Калинского, который, отбыв 15 лет одиночного заключения, в 1959 году появился в Москве и начал посещать друзей и знакомых трагически погибшей от неизлечимой болезни Татьяны Златогоровой, которую он выдавал за свою жену. Но этом и писать бы не стоило, если бы не одно обстоятельство.

Одна моя собеседница хорошо знала одну из поклонниц Мессинга и через нее познакомилась с телепатом. Но конечно, она ничего не знала о пагубной роли Калинского в судьбах Мессинга и моей. Теперь она напрягала память, чтобы помочь мне и побольше сообщить о его судьбе. И вдруг вспомнила, что уже в семидесятых годах, то есть незадолго до смерти Мессинга, она неожиданно увидела его в сбер-

кассе при гостинице "Москва", на проспекте Маркса. Я подумал, что ослышался, когда она добавила, что он был в обществе "этого, как его звать, Калинского, что ли, ну, который околачивался вокруг Златогоровой".

- Как? - Я выпучил глаза. - Мессинг в обществе Калинского?! Могло ли быть такое? Что они там делали?

- Что они могли делать? Разговаривали. Довольно оживленно.

- О чем же они могли разговаривать?

- Откуда я знаю? Я рядом не стояла. Видела только, как они размахивают руками. Но вы сами знаете, что евреи нередко разговаривают с помощью рук.

- Они, наверное, ссорились?

- Трудно сказать. По тому, как они размахивали руками, об этом было трудно судить. Но что с вами?

Я был совершенно ошеломлен. Мессинг мог встречаться с Калинским? Я мог себе многое представить, но только не это. Что они могли сказать друг другу? Что теперь, после всего, что было, могло их связывать?

Я пытался представить себе Мессинга, который может быть уже начал избавляться от страхов сталинского времени и от воспоминаний о Ташкенте. И вдруг перед ним вырос Калинский, человек из прошлого, которого хотелось забыть навсегда. Чего могла хотеть от Мессинга эта фигура, вынырнувшая из мрака забвения? А не шантажировал ли он его? Но чем, собственно, он мог его шантажировать? Ведь не угрозой разглашения того, как он спровоцировал и посадил в тюрьму великого ясновидца?

Я не находил ответа на возникающие один за другим вопросы. Что это еще за новая чертовщина? А что, думал я, если Мессинг не питал никакой вражды к своему злодею? Может быть, его жизненный поворот в Ташкенте, начавшийся весьма скверно, окончился очень благополучно? А что, если Калинин и Мессинг одним миром мазаны? Что, если освобождение из следственной тюрьмы в Ташкенте надо рассматривать с совсем иной точки зрения?

И я понял: до сих пор я лишь ходил вокруг да около. Я предполагал, что разгадал какие-то тайны, но оказалось, что за ними стоят тайны гораздо более сложные. И что мне, по всей вероятности, придется выкинуть белый флаг...

\*

Загадка Вольфа Мессинга так и остается для меня неразгаданной. Может быть, кому-нибудь посчастливится подобрать к ней лучшие ключи, чем те, которые были у меня. Я же больше не в силах рыться в этой трясине.

Араге, Satanas! Чур меня!



С. В. БЕЛОВ

## **"Гений и злодейство - две вещи несовместные"**

Шопенгауэру принадлежит замечательно верное изречение, что к великим произведениям живописи нужно относиться как к Высочайшим особам. Перефразируя философа, скажем, что и к гениям надо тоже относиться как к Высочайшим особам. А будь моя воля, я бы издал указ, запрещающий порочить наше национальное достояние и обязующий относиться к нашему национальному достоянию так же бережно, как это сделал В. Распутин в своей записи в книге отзывов Дома-Музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе: "Здесь дух святой Федора Михайловича - и как хорошо, что он есть! Спасибо вам, дорогие русские женщины, за то, что вы храните его имя... Как много всего, во имя чего следует его хранить".

А у нас началась какая-то вакханалия! Достоевский, о котором один известный русский философ двадцатого века сказал, что он "и есть та величайшая ценность, которой оправдывает русский народ свое бытие в мире, то, на что может указать на Страшном Суде народов", подвергается такому препарированию (и не где-

нибудь за тридевять земель, а у себя на родине!) и как человек, и как писатель, что даже герой "Бобка" с его криком "заголимся и обнажимся" показался бы целомудренным человеком.

Началось все с гнусной клеветы Н. Страхова, который в 1883 г. приписал преступление Свидригайлова и Ставрогина самому их создателю. Но ведь Н. Страхов же сделал это все-таки в *частном* письме, публично же он писал много хорошего и о Достоевском-человеке и о его творчестве.

Проходит почти девяносто лет и эстафету Н. Страхова подхватывает Б. Бурсов, но уже не в частном письме, а миллионными тиражами доказывает в своей работе "Личность Достоевского", что гений и злодейство две вещи совместные и всему виной двойственность Достоевского - мог и совершить он то преступление, которое совершили Свидригайлов и Ставрогин, а мог и не совершить - двойственность, двойничество, всегда и во всем.

Вторжение во внутренний мир личности любого человека, а тем более гения, - всегда огромное испытание любопытствующего. Б. Бурсов не выдержал этого испытания.

Проходит еще 15 лет, и эстафету Н. Страхова и Б. Бурсова подхватывает О. Чайковская, которая в очерке "Из двух источников" ("Новый мир", № 4, 1985) вдруг через сто лет после "вражды" Тургенева и Достоевского решила не просто столкнуть их снова лбами (это было бы еще полбеда), но и доказать, что один "источник" под названием "Тургенев" был светлый, благотворный, нужный сейчас (и как человек и как писатель), а второй источник под назва-

нием "Достоевский" был, наоборот, "темный", вредный, плохо влияющий и в наши дни.

Но только я собрался отвечать О. Чайковской, как увидел в восьмом номере "Нового мира" дневниковые записи немца Фидлера. Вот немец Фидлер, которому "стоило величайших усилий прочитать "Братьев Карамазовых", стоит на Невским перед Достоевским, как перед божеством, а "божество", оказывается, "бросило" на него "гневный взгляд" и "сплюнуло".

Вот, оказывается в записи Фидлера композитор Н. Ф. Христианович, которого отродясь не значилось в списке не только близких, но даже и дальних знакомых писателя, рассказывает, что Достоевский "всегда проповедовал терпимость, но был самым нетерпимым и завистливым человеком на свете, не терпевшим возле себя никаких других богов" (интересно бы узнать, кому и почему завидовал Достоевский!?).

Затем Фидлер записывает рассказ С. А. Венгерова о том, как он был в 1875 г. дома у Достоевского и завел речь о Свидригайлове и заметил писателю, что он не признает совсем церковных обрядов, на что Достоевский якобы ответил: "Нет, признаю! Даже для самого драгоценного вина требуется чаша: а для религии такой чашей является обряд..."

Но здесь какая-то мифология. В 1916 г. Венгеров в журнале "Солнце России" сам заявил, что он встречался с Достоевским не у него дома на Греческом проспекте в 1875 г., а на журфиксах у поэта Я. Полонского (это было зимой 1879 г.) и рассказал то, что записал Фидлер в своем дневнике от 2 августа 1907 г.

И это больше похоже на правду. Не говоря уже о том, что это говорит *сам* Венгеров, довольно странно было бы, если бы двадцатилетний Венгеров (в 1875 г. ему было 20 лет), придя первый раз к Достоевскому, вдруг заметил ему, что он "совсем не признает церковных обрядов".

Да и забывчивость со Свидригайловым больше характерна именно для последних лет жизни писателя.

Наконец, довольно легкомысленное, во всяком случае довольно странное для Достоевского, сравнение религии с вином (пусть даже самым драгоценным), а обряда — с чашей.

В 1916 г. сам Венгеров передал эти слова Достоевского так: "Обрядность — вещь второстепенная, но это та чаша, где хранится драгоценное содержимое — вера людская".

Но в передаче самим Венгеровым этого разговора с Достоевским на журфиксе у Я. Полонского есть еще одно существенное добавление, которое совсем не попало к Фидлеру: "В святоотеческой литературе Достоевский искал всегда образцов для подражания. Обсуждая свои поступки, он вдруг задавал себе вопрос: — А как поступила бы в таком случае Мария Египетская?"

Но вот оказывается и второй эпизод, который приводит Фидлер в своем дневнике со слов Венгерова, — обед в честь Тургенева в 1879 г. — был уже самим Венгеровым опубликован в 1918 г. в журнале "Бирюч петроградских государственных театров", а в 1923 г. перепечатан в "Литературном еженедельнике".

Оказывается, в записи Фидлера отсутствуют после эпизода на обеде самые важные слова

Венгерова: "Тургенев тогда был центром общего внимания, ибо в ту пору он считался первым русским писателем... Публика и критика поняли впоследствии, что Толстой и Достоевский выше Тургенева, что Тургенев просто хороший писатель, а они оба гении". Но далее происходят совсем чудеса! Дело в том, что такой авторитетный источник, как воспоминания Г. К. Градовского "Итоги (1862-1907)" (Киев, 1908), ни слова не говорит о том, что Достоевский начал оправдываться перед своим извечным врагом, да еще с "помощью" фрака! Так кто же это придумал? Венгеров или скорее всего немец Фидлер.

Затем Фидлер приводит фантастически невероятный рассказ В. И. Ламанского о том, как Достоевский сообщил ему, что собирается совершить "преступление", за которым непременно последует "наказание" (уж не то ли самое, которое потом подхватили Страхов и Бурсов!). Затем, оказывается, Достоевский показал В. И. Ламанскому место у себя дома, где лежал на полу в припадке эпилепсии, и не просто показал, а сатанински наслаждался, описывая свой припадок с такими подробностями, что для Ламанского стало мучительно слушать, а Достоевский видел это, а все равно продолжал рассказывать.

Вот такими анекдотами нас угощают, а ведь речь идет, повторяю, о нашем национальном достоянии, о нашей национальной гордости. Вот и до "Слова о полку Игореве" добрались и тоже наше национальное достояние ставят под сомнение. Хочется крикнуть: "Опомнитесь! Что Вы делаете? Неужели не осталось ничего святого?"

Но оставим эмоции. Попробуем разобраться, почему мы так любим "заголяться и обнажаться"? И почему вдруг О. Чайковская решила выступить со статьёй "Из двух источников"? Это тем более странно, что в 1977 г. О. Чайковская в "Литературной газете" (18 мая) в очерке "Трое на косогоре" писала о том, что в школе, да и во многих научных трудах, ошибочно и примитивно толкуют "Преступление и наказание", подменяя великую нравственную идею личной ответственности идеей вечно во всем виноватой "среды", забывая об "идее суда собственной совести", о нравственной норме "не убий", которая в нормальной жизни не знает исключений.

Что же изменилось за восемь лет, почему вдруг О. Чайковская усомнилась в благотворном значении Достоевского, во всяком случае в его благотворном читательском восприятии?

Недавно издательство "Радуга" сделало всем хороший подарок, выпустив однотомник У. Фолкнера, включающий его статьи, речи, интервью, письма. На вопрос "Что Вы думаете о Достоевском?" Фолкнер ответил: "Он не только сильно повлиял на меня – я получаю огромное удовольствие, постоянно перечитывая его, я перечитываю его примерно каждый год. Его мастерство, проникновение в человеческую душу, способность к состраданию делает его писателем, к которому хотели бы приблизиться многие, если бы могли. Он был одним из тех, кто оставил неизгладимый след..."

Конечно, О. Чайковская знает, что у Достоевского были также такие замечательные читатели, как А. Камю, Ф. Кафка, Г. Бёльль, М. Булгаков, Е. Тарле, Вл. Ив. Немирович-Дан-

ченко. Впрочем, почему были. Они и есть: В. Распутин, Л. Леонов, Д. Гранин, Ч. Айтматов, Г. Товстоногов.

Но О. Чайковскую интересует только экстремальный случай воздействия прозы Достоевского на приводимый ею уголовно-криминальный случай, да что там прозы, он ведь и сам как личность был довольно подозрителен.

Надо изначально договориться, что гений и злодейство две вещи несовместные (слава Богу, О. Чайковская считает Достоевского все-таки гением), ибо если совместные, тогда бесы Достоевского по сравнению с бесами двадцатого века покажутся просто детским садом.

Если мы все-таки договоримся, что гений и злодейство две вещи несовместные, то тогда попытаемся понять, в чем же ошибка всех, кто пытается препарировать творчество Достоевского (о личности мы уже договорились).

Ошибка заключается в том, что Достоевского (впрочем, как и любого другого гениального писателя), вместо того чтобы принимать как целостное явление духа, как живой организм, интуитивно постигать его, пытаться быть в сотворчестве с ним, читать его с верующей душой, — вместо всего этого на Достоевского бросаются со скальпелем и начинают кромсать так яростно, как будто речь идет о неизлечимом больном. И единый духовный организм, великое слово умирает, остается словоблудие. Вообще, это стало какой-то болезнью, каким-то бедствием, если хотите: непременно в чем-то подозревать всех и все (да что писателей, уже и за жен взялись), а когда речь идет о целостном явлении духа, имя которому Достоевский, наш скепсис

разлагает его, делая невозможным верующее созерцание и чуткое сотворчество.

А теперь попробуем уже возразить О. Чайковской по конкретному поводу. О. Чайковская приводит пример, как П. А. Кропоткин, по его словам, под воздействием "Накануне" нашел "жену по сердцу" и "прожил с ней вместе счастливо больше двадцати лет". Конечно, это очень трогательно и умилительно, но хотелось бы спросить уважаемого автора статьи "Из двух источников", под чьим воздействием П. А. Кропоткин стал теоретиком анархизма? Не под воздействием ли Тургенева тоже? Процесс влияния художественной литературы на формирование души сложен и можно привести не менее убедительные примеры благотворного влияния произведений Достоевского на жизнь людей как прославленных, так и ничем не знаменитых, а также влияние Толстого, Чехова и т. д. и т. д. Все сравнения будут произвольны. Для одного самым сильным впечатлением останется на всю жизнь "небо Андрея Болконского", для другого - сны Раскольникова, для третьего - женские образы Тургенева...

Но раз уж пошли конкретные примеры воздействия "двух источников" на читателей, то позволю и я себе привести один пример.

7 мая 1985 г. Президиум Верховного Совета СССР наградил посмертно "за мужество и отвагу, проявленные в антифашистской борьбе во Франции в годы второй мировой войны" орденом Отечественной войны II степени Елизавету Юрьевну Кузьмину-Караваеву.

Но когда я прочел совсем почти неизвестную у нас книгу "Достоевский и современ-

ность”, которую мать Мария - Е. Ю. Кузьмина-Караваяева - выпустила в Париже в 1929 году, я понял, что она сумела через все нелегкие годы пронести свою любовь к Достоевскому, и эта любовь согревала поистине трагическую и героическую жизнь этой легендарной женщины, и эта любовь придавала ей мужество и отвагу в борьбе с фашизмом, и эта любовь укрепляла ее дух до самой последней минуты - до гибели в газовой камере концлагеря Равенсбрюк 31 марта 1945 года.

Вот начало ее книги: "...Без преувеличения можно сказать, что явление Достоевского было некоей гранью в сознании людей. И всех, кто мыслит теперь после него, можно разделить на две группы: одни - испытали на себе его влияние, прошли через муку и скорбь, которую он открывает в мире, стали "людьми Достоевского". И если они до конца пошли за его мыслью, то так же, как и он, могут говорить: "Через горнило сомнений моя осанна прошла". И другие люди, не испытавшие влияния Достоевского. Иногда они тоже несут свою осанну. Но им ее легче нести, потому что они не проводят ее через горнило сомнений. Они - всегда наивнее и проще, чем "люди Достоевского", они не коснулись какой-то последней тайны в жизни человека и им, может быть, легче любить человека, но и легче отпадать от этой любви".

Вообще, напрасно О. Чайковская так легкомысленно решает проблему "читатель и писатель", и если уж она задалась целью проследить воздействие писателя на читателя, то вопрос об ответственности писателя за свое слово совсем не так прост, как ей кажется.

У меня еще свежо в памяти обсуждение романа В. Распутина "Живи и помни" в одном из Домов офицеров, когда офицеры говорили, что В. Распутина надо расстрелять, так как он не патриот своей Родины?! Вот вам и читатели! Теперь, вероятно, при обсуждении новой повести В. Распутина "Пожар" работники лесной промышленности скажут, что он выступает против политики партии в деле лесозаготовок?!

А как же Лев Толстой с "Анной Карениной"? Если женщины, изменившие своим мужьям, начнут бросаться под поезд, прочтя "Анну Каренину", значит виноват Лев Толстой?

Конечно, настоящее чтение Достоевского (это особое искусство медленного чтения) — огромное событие в жизни и, как сказала Е. Ю. Кузьмина-Караваева, человек, приобщившийся к миру Достоевского, становится другим человеком.

Конечно, читать правильно Достоевского совсем нелегко. Ну, а кого легко? Тургенева, что ли? Так, может быть, поэтому его читают сейчас значительно меньше, чем Достоевского?

"Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги". Еще не все потеряно для Раскольниковца, еще не все погасло в его душе, еще теплится в ней тусклое пламя огарка.

Как надежный проводник, знающий единственную и верную дорогу, ведет Достоевский читателей через лабиринт совести Раскольниковца. И надо быть предельно внимательным и духовно зрячим при чтении "Преступления и

наказания”, обращая внимание буквально на все, чтобы увидеть в конце ту свечу, которую держит Достоевский.

Конечно, не понимают Достоевского те, которые считают его мрачным и безысходным, которые не видят свечу в конце тоннеля. Да, у Достоевского почти всегда просвет через страдание, но он не виноват в этом. Это не его прихоть. Это христианский путь. Мир во зле лежит и счастье может быть только через распятие.

Но вот я читаю эссе О. Чайковской и чувствую, что все это до удивления знакомо. Уже громили так национальное достояние России. Так, еще в 1931 г. А. В. Луначарский спрашивал в “Литературной газете” (19 февраля): “Закономерно ли, однако, с точки зрения интересов нашего великого строительства увлечение писателей (в такой же степени и увлечение читателей) Достоевским?”

В этом же номере “Литературной газеты” Михаил Левидов в статье “Миф о Достоевском” “раскрыл” нам, в чем же заключается этот “миф”. Вот, оказывается, в чем: “...И конечно, не было писателя с могучим, целостным мировоззрением, которым он хотел завоевать человечество. Не было пророка, проповедника, мыслителя, публициста. Это – один из мифов русской литературы. Был человек, одаренный небывалым громадным художественным талантом, бессознательным в том смысле, что он им никак не управлял...”

А уж о погромах Е. Ермилова я и не говорю: это еще у всех свежо в памяти.

А между прочим, еще в 1920 году Б. Эйзенбаум протестовал против одного автора,

который пользовался "известным письмом Н. Страхова о Достоевском, считая его авторитетным и непогрешимым изображением личности Достоевского и тем обнаруживая полное свое невежество".

На упреки О. Чайковской, что у Достоевского нет настоящих пейзажей, я мог бы ответить словами Ф. Кафки: "Ведь индивидуальность писателя в том главным образом и состоит, что свои недостатки каждый прикрывает на свой особый манер".

Мне неудобно как-то объяснять О. Чайковской то, что сейчас знает каждый школьник: в чем разница между пейзажами Тургенева и Достоевского.

Пейзаж у Достоевского существует только в человеке и для человека. Это *духовный* пейзаж. Вся поэтика, например, романа "Преступление и наказание" подчиняется одной главной и единственной задаче - воскресению Раскольникова, избавлению "сверхчеловека" от преступной теории и приобщению его к миру остальных людей.

Достоевский *одухотворяет* природу. Мир, окружающий человека, всегда дается как часть души этого человека, становится как бы внутренним пейзажем человеческой души, в немалой степени определяет человеческие поступки. В душе Раскольникова-убийцы так же "холодно, темно и сыро", как в Петербурге, и "дух немой и глухой" города звучит в Раскольникове, как тоскливая песня одинокой шарманки.

Духовно и описание страшной грозовой ночи, предсмертной ночи Свидригайлова, когда его жуткий душевный хаос сливается с таким же жутким природным хаосом. Но в эпилоге

романа, когда Раскольников нравственно возрождается, меняется и пейзаж романа.

”Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска волновала его и мучила”.

О. Чайковской уже ответил Ю. Трифонов, который писал в статье ”Нечаев, Верховенский и другие...” (недавно, кстати, издательство ”Советская Россия” выпустило прекрасный сборник ”Как слово наше отзовется...”, где впервые собрана публицистика писателя): ”...В чем загадка Достоевского? Почему спустя сто лет после смерти он один из самых живых, сильно действующих, необходимых человечеству? Художественная и мыслительная мощь Достоевского не растратилась в десятилетиях, а, наоборот, неуклонно возрастает и крепнет. Его влияние на литературу XX века неоспоримо. И не только на литературу. Это тем более загадочно, что с точки зрения литературной формы Достоевский – писатель неправильный... Он лишен зуда все непременно с чем-то сравнивать... Пейзажей в его романах почти нет. Они тормозят действие... А передавать посредством пейзажа душевное состояние Достоевско-

му не нужно – он передает состояние другим способом... Он описывает то, что наименее доступно описанию, – характеры. И для этих описаний – я бы назвал их *психологическими пейзажами* или *пейзажами души* – не жалеет ни красок, ни подробностей, ни зоркости, ни многих, многих страниц... Мы, обыкновенные сочинители, находимся на поверхности, где пейзажи, а лазерный луч Достоевского проникает вглубь”.

Не знаю, согласится ли О. Чайковская при всей ее любви к Тургеневу причислить его к “обыкновенным сочинителям”?

Достаточно открыть первую страницу романов Достоевского, как невольно и незаметно втягиваешься в стремительный ритм его романов, благодаря которому писатель создал новую геометрию искусства, дополнив евклидовский трехмерный мир “четвертым измерением” – духовностью.

У каждого героя Достоевского свой язык, но все они говорят на “одном” языке – на языке “четвертого измерения” писателя. Именно в этом и состоит кажущаяся на первый взгляд “одинаковость” языка героев Достоевского.

Теперь после небольшого экскурса в школьные учебники перейдем к более серьезным обвинениям, хотя трудно даже сказать, какие серьезные, а какие нет, потому что в Достоевском О. Чайковской не нравится буквально все, и своим скальпелем она кромсает национальное достояние России буквально на кусочки.

Оказывается, по О. Чайковской, Тургенев “исполнен к читателю дружелюбия”, а Достоевский “словно бы раздражен”, у Достоевского,

по О. Чайковской, была "иллюзия, будто он до самых заветных глубин постиг русского мужика".

По О. Чайковской, оказывается, Тургенев "писал своего Хоря как равного, Достоевский своего Макара Ивановича ("Подросток") - коллонопреклоненно, как живописный лик, который в реалистическом романе оказался бесплотной тенью".

Почва Достоевского религиозная, и если бы О. Чайковская встала бы только на нее, тогда мог бы получиться серьезный разговор. Но она на нее становится далеко не всегда, а если и становится, то с явным недоброжелательством по отношению к Достоевскому.

О. Чайковская пишет, что "вряд ли годится в оракулы тот, кто живет в непрестанной внутренней борьбе с самим собой, своими страстями (и не всегда побеждает их); тот, кого жгут сомнения даже там (а может быть, именно там), где речь идет о главных проблемах жизни".

И далее О. Чайковская приводит письмо Достоевского 1854 г. "Я - дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных".

Это излюбленный аргумент всех, кто сомневается в религиозности Достоевского. Однако забывают св. Апостолов, обращавшихся к Иисусу Христу: "помоги нашему неверию...", а ведь они лицезрели Христа и его дела...

"А доводы были сильны", - пишет О. Чайковская и приводит слова позднего Достоевского:

”И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла”.

Но ведь Достоевский не случайно глагол-то употребляет в прошедшем времени *прошла*. Вот вторых, О. Чайковская сознательно опускает в этом контексте еще одни слова Достоевского, когда он, назвав тех, кто ”дразнил” его ”необразованною и ретроградною верою в Бога”, ”*мерзавцами*” (курсив наш. – С. Б.), пишет: ”Этим *олухам* (курсив наш. – С. Б.) и не снилось такой силы отрицания Бога, какое положено в Инквизиторе... такой силы отрицания, какое перешел я. Им ли меня учить!”

Вера Достоевского в Христа прошла через горнило сомнений, а это и есть самая надежная вера, и Достоевский веровал от любви, а не от страха, как, скажем, Гоголь и Константин Леонтьев.

Далее О. Чайковская, говоря о ”Братьях Карамазовых”, приводит, как ей кажется, самый потрясающий аргумент в пользу ”атеизма” Достоевского. ”Нет у Христа права прощать, – пишет О. Чайковская: – если на одну чашу весов (высших, судейских) положить его муки, а на другую – муки матери, на глазах которой растерзали сына, Христовы муки не перетянут”.

Я не буду сейчас говорить о том, что О. Чайковская забывает, что призыв к труждающимся и обремененным исходил от Христа униженного, а не в славе. Действительно, проблема мирового зла есть самая трудная проблема религиозного сознания – точнее говоря, неразрешимая проблема для нашего

”эвклидова” ума. Преодолевается она у Достоевского мистической идеей вины каждого за всех. Неотомщенное безвинное страдание заставляет Ивана отвергнуть мир во имя оскорбленного нравственного чувства, требующего мести; но есть нечто более высокое, чем месть, — это прощение и любовь.

”Мама, — говорит умирающий брат Зосимы, — не плачь, жизнь есть рай, все мы в раю, да не хотим знать того, а если бы захотели узнать, завтра же и стал бы на всем свете рай”.

Проблемы мирового зла уже нет, потому что нет и самого зла, прощенного, побежденного любовью.

Основная истина христианства та, что совершенный праведник, Христос, ничего не получил от этого мира, кроме Распятия. Если страдание не искупается в этом мире, оно должно быть искуплено в каком-то другом. Первое положение христианства, что Христос этим миром был распят; второе — что и Распятие и этот мир Он преодолел своим Воскресением. Воскресением восстанавливается справедливость, обидчику дается возможность раскаяться, жертве — простить. Этим страдание из подневольного, принижающего превращается в свободное, возвышающее. Таким образом, идея бессмертия тесно переплетается с моральной проблемой.

Отсутствие бессмертия лишает всю мировую проблему зла *смысла* и морального оправдания. Если загубленный мальчик не воскреснет и его страдания так и останутся неискупленными, то этот весь мир, как целое, навсегда

дискредитируется. Только идея бессмертия решает проблему, но зато решает ее *сполна*.

Вот как Достоевским решается проблема мирового зла, а непосредственно О. Чайковской уже ответил великий М. Нестеров. У него есть малоизвестная картина "У Креста" (Страстная седмица) (хранится в Церковно-археологическом кабинете при Московской Духовной Академии). Слева на картине – на коленях простая женщина, за ней стоят мужик и священник; справа – на коленях Гоголь, за ним стоит Анна Григорьевна Достоевская и держит на руках гробик со своим сыночком Алешей, умершим от припадка эпилепсии, а за Анной Григорьевной стоит Достоевский.

Все их взоры устремлены к центру картины. А в центре Крест, на котором распят Христос.

Вот и весь ответ.

О. Чайковская считает, что Тургенев "спокойно и свято верил в принципы своей жизни, другой – все же думаю, что это так, – в свои не столько верил, сколько страстно жаждал верить..."

Прелестно здесь это *"все же думаю"*. Ну что ж – спасибо и за это.

О. Чайковская пишет, что "сомнения, терзания, раздвоенность (разорванность) не могли не сказаться на романах Достоевского (речь идет о поздних произведениях) неустранимыми противоречиями".

Ну, зачем же ставить все с ног на голову? Ведь через все муки раздвоения и тьму Достоевский принимал и Бога, и человека, и мир, ибо у Достоевского всегда свет Христа во тьме светит. Достоевский проводит человека через все ужасающие бездны раздвоения, но

это раздвоение никогда не губит окончательно человека, потому что через Христа вновь может быть восстановлен человеческий образ.

Еще любят говорить о больных якобы героях Достоевского, забывая запись Ф. Кафки в его "Дневниках" от 20 декабря 1914 г.: "Замечание Макса о Достоевском, о том, что в его произведениях слишком много душевнобольных. Совершенно неправильно. Это не душевнобольные. Обозначение болезни есть не что иное, как средство характеристики, причем средство очень мягкое и - очень действенное".

О. Чайковская, сравнивая бесов Достоевского с пушкинскими бесами, называет последних "горестными, подневольными бесами", "тоскующими" бесами; как не хватает Достоевскому "больного бесенка в люльке".

Конечно, не хватает, если учесть, что пушкинский "больной бесенок в люльке" за тридцать лет вырос до вселенского беса Нечаева, и Достоевский увидел воочию то, что Пушкину и не снилось даже.

О. Чайковская считает, что Достоевский "делает старца (Зосиму) демонстративно равнодушным к социальным проблемам".

Бедный старец Зосима, а он и не подозревал даже, что "равнодушен к социальным проблемам". Но ведь писать так, это опять-таки все ставить с ног на голову, т. е. не понимать совершенно истинных целей и задач христианства в мире.

Наконец, один из самых важных пунктов в обвинении О. Чайковской в адрес Достоевского - образ Кармазинова в "Бесах". "Речь уже не только об идейных расхождениях, - утверждает О. Чайковская, - или несовместимости художе-

ственного метода - о личной неприязни. Ею продиктован и образ Кармазинова в "Бесах"... Ничто не напоминает здесь Тургенева с его благородством и умом... Кармазинов к Тургеневу никакого отношения не имеет, это печальный факт биографии Достоевского. Тургенев ему той же монетой не отплатил".

Нет, это совсем не так и в корне неверно: личная неприязнь здесь совершенно ни при чем.

"Бесы" - это "Отцы и дети" для Достоевского. Да, у Тургенева и Достоевского было, конечно, психологическое "несовпадение" их натур, темпераментов, во всех смыслах - в творческом, и просто человеческом.

Но на психологическое и эмоциональное восприятие друг друга накладывались, бесспорно, идейные и весьма серьезные расхождения - а это, конечно, самое главное, ибо никогда бы Достоевский не унился до того, чтобы в художественном произведении сводить личные счеты с Тургеневым, да и вообще с кем бы то ни было (здесь О. Чайковская явно путает времена и нравы).

Многолетнюю "историю одной вражды" начал не Достоевский, а Тургенев, еще в молодости, ибо коллективному творчеству Тургенева и Некрасова принадлежит "Послание Белинского к Достоевскому", начинающееся строфой:

Витязь горестной фигуры  
Достоевский, милый пыщ,  
На носу литературы  
Рдеешь ты, как новый прыщ...

Но та неприязнь, которую в молодости почувствовали друг к другу Тургенев и Досто-

евский, не осознавалась еще ими тогда как глубокое идейное расхождение, а только предчувствовалась. Это было *религиозное* расхождение, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Идейные взгляды Тургенева мало изменились со времен молодости и, вообще, подтверждают то, что позже скажет Потугин: уже в молодости Тургенев смеется над славянофильством, а в 60-х гг., когда окончательно сложились его воззрения на Россию, он считает, что Россия должна идти по пути Запада, никакого особого пути у нее нет.

По некоторым данным можно считать, что Тургенев сочувствовал взглядам Штрауса и Ренана, которые отрицали божественную природу Христа.

Достоевский имел все основания считать Тургенева за сторонника ненавистных ему "женевских идей": "оставьте мне Бога и искусство, уступаю Вам Христа".

Достоевский писал Майкову:

"Его книга "Дым" меня раздражила. Он сам говорил, что главная мысль, основная точка его книги, состоит в фразе: "Если бы провалилась Россия, то не было бы никакого убийства, ни волнения в человечестве". Он объявил мне, что это его основное убеждение о России... Ругал он Россию и русских безобразно, ужасно..."

Для Достоевского любовь к России была чем-то болезненно острым. И ссора Тургенева и Достоевского в Бадене была совсем не простой ссорой двух людей, которые испытывают друг к другу личную неприязнь. Нет, все гораздо сложнее. В Бадене Тургенев оскорбил в

Достоевском русского патриота и верующего христианина.

Добавим к этому, что Достоевский знал, конечно, об очевидных симпатиях Тургенева к "нигилистам" и заговорщикам. Известно, что Тургенев весьма сочувственно относился к П. Лаврову и к тому, что проповедовал он и его сторонники, и даже помогал им.

Если же кратко попытаться сформулировать главную причину идейных расхождений между Достоевским и Тургеневым, то можно сказать так: Тургенев был язычником, а Достоевский христианином.

Но понимал ли Достоевский, что Тургенев ругает Россию сквозь слезы своей любви к ней? Конечно, понимал, иначе бы и не помянул бы тургеневскую Лизу в Пушкинской речи. Но для романа "Бесы" это не имело значения. Достоевский в Кармазинове заклеил в лице Тургенева ненавистный ему образ либерала-западника, которого Достоевский считал (и не без оснований) виновником появления в России Нечаева, Каракозова и подобных им (недаром такое созвучие в фамилиях Каракозов и Кармазинов).

Не хочу говорить о нравственном облике Тургенева — это значит становиться на одну доску с О. Чайковской (хотя известно, например, что Тургенев лишь случайно узнал, что у него, оказывается, растет дочь от крепостной крестьянки, а на обвинения, почему он продолжает печататься у Каткова в "Русском вестнике", Тургенев ответил, что там хорошо платят, и т. п. Достоевский же помогал пасынку, семье брата и расплачивался с его долгами до конца своих дней). Что касается

утверждения О. Чайковской, что Тургенев Достоевскому после Кармазинова "той же монетой не оплатил", так ведь таланта просто не хватило, а хватило только на то, чтобы распускать о Достоевском грязные слухи в связи с исповедью Ставрогина (это тоже, кстати, к вопросу о нравственном облике Тургенева), а после его смерти сравнить его с маркизом де Садам.

Но не будем вставлять на одну доску с О. Чайковской и превращать великих русских писателей в соседей по коммунальной квартире: зачем же через 100 лет после их смерти снова сталкивать их лбами? Ведь их многое и объединяло, что мы и покажем в дальнейшем.

Далее О. Чайковская переходит к примеру из судебной практики, т. е. свои теоретические "измышления" о Достоевском подтверждает как будто практикой: собственно ради этого примера она и задумала развенчать Достоевского.

О. Чайковская утверждает: "Гений Достоевского, мечущийся и тонущий (едва ли не сознательно тонущий!) в противоречиях, - как отзывается он в сердцах?"

О. Чайковская приводит пример трагической судьбы двух актеров, но ведь это же больные психически люди, независимо от Достоевского, и их надо было лечить. Председатель суда совершенно справедливо сказал: "Суд снимает вопрос о Достоевском".

Но О. Чайковская считает, что "мы этого вопроса снимать не должны".

Но разве у нас нет замечательных примеров воздействия гения Достоевского на актеров?! А К. С. Станиславский, В. И.

Качалов, Л. Леонидов, Н. Хмелев, И. Смоктуновский и еще десятки блистательных имен?

Вот что недавно ответил народный артист СССР Олег Борисов на вопросы корреспондента "Литературной России" (1985, 26 июля): "Достоевский научил требовательности, стремлению к предельно высокому уровню во всем. Во взаимоотношениях, общениях, дружбе, поисках художественной достоверности. Работая над его прозой, я почувствовал, что переживаю двойной катарсис. Вначале освобождаешься от всего суетного, будничного, преходящего. Соприкоснувшись с материалом и попробовав что-то сделать, проходишь новое очищение... Достоевский притягивает, как магнит. Что бы я ни делал - записываюсь ли на радио в "Двойнике" или "Неточке Незвановой", снимаюсь ли в "Подростке" - рассматриваю всякую новую встречу с ним как *великий дар судьбы*" (курсив наш. - С. Б.).

А вот что записали космонавты В. Севастьянов и А. Аксенов в книге отзывов Дома-Музея Ф. М. Достоевского в Старой Руссе: "Федор Михайлович Достоевский оставил Человеку веру в его природную чистоту; он сказал, что преступление есть уже наказание, а совесть - это память сердца".

Вот видите, космонавты точно определили всю нравственную проблему преступления и наказания, а О. Чайковская, которой как юристу сам Бог велел это сделать, не сумела (или не захотела) понять самое сокровенное в Достоевском.

О. Чайковская пишет: "Мы ждем от великой книги "Преступление и наказание" благотворного влияния на юношеский ум, а юношеский ум

откликается на нее порою очень странно". И приводит пример из школьного сочинения, взятого эпиграфом к инсценировке Ю. Карякина.

На свою публикацию "Вокруг Достоевского" ("Новый мир", № 1, 1985) я получил свыше 50 теплых писем, в том числе и от школьников. Приведу лишь два примера. Вот что из Донецка написала мне ученица 9-го класса Виктория Нестеренко: "В седьмом классе я прочитала первое произведение Достоевского "Униженные и оскорбленные" и была потрясена и захотела читать еще и еще. Я прочитала теперь "Преступление и наказание", "Идиот", "Братья Карамазовы", "Бедные люди" и другие повести и рассказы, и Достоевский стал моим любимым писателем".

А вот из Москвы написал ученик 10-го класса Николай Андронов: "Для меня романы, произведения, шедевры Достоевского – это все в жизни... Меня воспитали эти книги, они меня заставили думать, размышлять, пристально вглядываться в окружающую меня жизнь, мир, стараться понять устои и психологию человеческого общества. Не родители, не школа, а Достоевский воспитал меня и сделал таким, каков я есть..."

Я специально встретился в Москве с Николаем Андроновым. Могу засвидетельствовать: "Великая книга "Преступление и наказание" благотворно повлияла на юношеский ум". Это удивительно чистый юноша.

О. Чайковская утверждает: "Мне кажется, лучших русских женщин XIX века написал именно Тургенев... Его женщины очень разные... но есть у них общее великое свойство: верность, неизменная, неподкупная, глубоко серь-

езная, которая может стать надежной основой жизни”.

Ну, а как же Сонечка Мармеладова? Да ведь ее духовный подвиг, выразившийся в воскрешении Раскольникова, стоит всех тургеневских женщин (кроме Лизы, конечно, что и сам Достоевский отметил, так ведь Соня и Лиза одного духа люди).

О. Чайковская считает, что ”и преступники его куда больше страдают, чем раскаиваются. Раскаяние Раскольникова нам только обещано, оно настолько за кадром, что мы о нем и не помним...”

Но ведь это как посмотреть. Всем ходом романа Достоевский приводит читателя к раскаению Раскольникова, надо только внимательно читать роман, и тогда поймешь, что без эпилога он невозможен.

О. Чайковская пишет: ”Нет, наше дело – пить из обоих источников, все же помня при этом, что один всегда благодворен, а с другим надо быть поосторожнее”, и в качестве доказательства ссылается на М. Бахтина: ”Достоевского не раз обвиняли в нравственном релятивизме, как не раз его от подобных обвинений и защищали...” Если герои Достоевского, как указывает сам М. Бахтин, являют собой не образы, а голоса, ”чистые голоса”, равноправные не только меж собой, но с голосом самого автора, если они ведут меж собой непрерывный нравственный спор, который, как опять же полагает М. Бахтин, решен быть не может, то мысль об опасности нравственного релятивизма напрашивается сама собой.

Действительно, казалось бы на первый взгляд, антиномичность мышления Достоевского

и полифоничность его поэтики делает его простым регистратором идей, причем его собственный голос остается как будто несказанным, заглушенным голосами литературных персонажей. Но это ошибка, в которую впадают многие, пишущие о Достоевском, в частности, М. Бахтин, когда он из правильного вывода о полифоничности поэтики Достоевского сделал ошибочный вывод о полифоничности его мировоззрения.

Великий христианский писатель, искусство которого новозаветно, ибо оно исключительно и всецело посвящено бессмертной человеческой личности, в каждом из нас единственной, никем и ничем не заменимой, превращается в оркестр без дирижера.

Мировоззрение Достоевского в целом выражено во всей заключенной в его произведениях символике Добра, и эта символика Добра, т. е. диалектический результат целого, вырастает при полном учете всех идей-образов, которые венчаются идеей Добра. Только учитывая эту символику Добра, можно понять "Легенду о Великом Инквизиторе", понять молчание Христа перед Великим Инквизитором, как и понять, кстати, молчание Христа перед Пилатом. Как и Пилат, Великий Инквизитор не понимал, что это молчание и есть лучшее опровержение всех его аргументов, ибо как говорил Исаак Сирин, которого читает перед уходом из жизни Смердяков: "Молчание есть тайна будущего века, а слова суть орудие этого мира". Великий Инквизитор не понимал, что одним фактом своего появления Христос опровергает все его аргументы.

Мало того. Дело доходит до того, что

поцелуй Христа в финале Легенды о Великом Инквизиторе принимают за признание Христом правды Инквизитора, а тот факт, что Инквизитор отпустил Пленника объясняют актом великодушия, когда, как бы тронутый всепрощающей любовью Спасителя, Инквизитор открывает двери темницы.

Но те, кто так объясняют финал Легенды, не понимают самое главное: ведь Инквизитор говорит слова, мучающие Христа и пригвождающие Его к Кресту больше, чем голгофские гвозди. Инквизитор говорит Спасителю мира: "Ступай, ступай, и не приходи более... не приходи вовсе... никогда, никогда!" В поцелуе "Легенды" есть правда, но есть и ложь. В нем Достоевский, и в нем — Иван Карамазов. Правда этого поцелуя в том, что Христос любит любого человека, в том числе и того, кто не любит Его и не хочет любить. Христос грешников пришел спасти. И человечество нуждается для своего спасения именно в такой высшей любви Христа: самый больной ребенок нуждается в самой большой материнской любви. Поцелуй Христа есть такой призыв высочайшей любви. Последний призыв пилатов и фарисеев к покаянию! В этом идея Достоевского. Но поцелуй является также и произведением Ивана Карамазова, его последней искусительной неправдой: он заставил Истину поцеловать ложь.

Легенда о Великом Инквизиторе есть художественно-завершенный образ лжи. Достоевский собрал в фокус все возражения против Христа и его дела в мире и выявил это в Легенде. Достоевский показал всю фальшь неистинного добра, неистинной веры, чтобы люди яснее увидели все дело Христа и его лучезарный образ.

О. Чайковская объясняет успех Пушкинской речи Достоевского тем, что он заворожил всех как колдун, и пишет, что и "Тургенев был тронут речью, а позже находил ее фальшивой". Как известно, Тургенев не принял шедевра Достоевского "Преступление и наказание" - гротескно сравнивая впечатление, производимое на него романом, с "продолжительной холерной коликой". Он также весьма резко отозвался о "Подростке", назвав его "хаосом", "никому не нужным" невнятным "бормотанием".

В этих пристрастных, желчных и несправедливых оценках сказалось не только полемическое раздражение писателя, но и принципиальное несогласие с творческим методом Достоевского.

Тургенев во многом субъективно, в соответствии со своим уравновешенным психологическим складом, воспринимал трагический мир героев Достоевского, как своего рода болезненную апологию страдания. Для Тургенева художник-Достоевский - "жестокий талант".

О. Чайковская пишет, что потом, после Пушкинской речи, "иные опомнились, стали соображать и увидели, что мысли, высказанные Достоевским, им не близки".

Конечно, не близки, ибо Достоевский говорил "смирись, гордый человек", а "иные" уже думали об убийстве Александра II.

О. Чайковская пишет, что

"нет... ничего бессмысленней, чем попытка расставлять великих в некоем иерархическом порядке".

Но ведь жизнь уже всех давно сама расставила, и Тургенев оказался далеко позади Достоевского. (Кстати, на похоронах Некрасо-

ва сам Достоевский поставил Некрасова за Пушкиным и Лермонтовым.)

Но было же в Достоевском и Тургеневе то, что их объединяло: уважение к писательскому таланту друг друга, общая любовь к русской литературе. Тургенев собирался писать некролог о такой значительной личности, как Достоевский. Одной из трогательнейших минут Пушкинской речи Достоевского была та, когда в ответ на упоминание Достоевским Лизы из "Дворянского гнезда" Тургенев послал ему воздушный поцелуй, вылившийся у него из сердца, а в одном из писем Достоевский пишет, что "Тургенев и Анненков тоже бросились лобызать меня и, пожимая руки, настойчиво говорили мне, что я написал вещь гениальную!"

В этих порывах Тургенева и в упоминании Достоевским Лизы была забыта та глубокая идейная вражда, которая их разделяла.

Вдохновенное слово Достоевского о тургеневской Лизе и сердечный порыв Тургенева были их завещанием. Оба они, уходя в вечность, как бы просили забыть всю их вражду и оставить потомкам их *великое художественное слово*.

Примером такого бережного отношения к личности Достоевского и служат "исторические записки" И. Волгина "Последний год Достоевского" ("Дружба народов", №№ 4-7, 1985; отд. изд. М., 1986).

И. Волгин справедливо пишет, как бы полемизируя с О. Чайковской:

"Доброта, бескорыстие, отзывчивость на чужое горе, немедленная готовность материально поддержать человека, попавшего в беду, -

все это глубоко органические, структурные черты его личности”.

Бесспорно, “Последний год Достоевского” — одно из самых заметных явлений в “достоевсковедении” последних лет. Это не сухое академическое изложение с бесконечно уже надоевшим разбором “ошибок” Достоевского, и не очередная попытка, как мы только что видели, доказать, что гений и злодейство две вещи совместные, нет, это бережное отношение к гению мировой литературы, к национальному достоянию России.

Читая интересную и талантливую работу И. Волгина, который сумел сконцентрировать наше внимание на этой поразительной атмосфере последнего года из жизни Достоевского, понимаешь, что он поставил перед собой поистине глобальную задачу: попытаться через последний год из жизни писателя понять всю жизнь Достоевского, постигнуть основные идеи и мотивы его творчества.

И “Последний год из жизни Достоевского” так захватывает нас своим увлекательным повествованием, что прощаешь автору и излишнюю “красивость” и “легкомысленность” стиля (“чем черт не шутит”; Иван Карамазов “возвращал билет Богу; Катков обществу любителей”; “закон крови” в действии и т. д.), и целый ряд ошибок и неточностей, понимая, что в одних случаях это, очевидно, неизбежные издержки огромной исследовательской работы, проведенной И. Волгиным, а в других случаях это, вероятно, нужно для “эффекта” повествования. Например, И. Волгин пишет, что “ничего не известно о самом отце Мегорском” — священнике Владимирской церкви в Петербурге, ис-

поведовавшем перед смертью Достоевского, но достаточно было бы И. Волгину заглянуть в карточку генерального каталога Ленинской или Публичной библиотеки, чтобы узнать, что Евграф Иванович Мегорский (1834–1904) стал впоследствии протоиереем, ректором Новгородской семинарии, затем магистром богословия, настоятелем Казанского собора, выпустил ряд религиозно-нравственных сочинений; или И. Волгин утверждает, что ни одно из сочинений Достоевского при его жизни не было издано за пределами России, однако достаточно было И. Волгину посмотреть ценнейший обзор В. В. Дудкина и К. М. Азадовского "Достоевский в Германии (1846–1921)" в 86 т. "Литературного наследия" (М., 1973), чтобы убедиться в том, что Достоевский издавался в Европе до 1881 г. Например, в 1864 г. лейпцигский издатель Вольфганг Герхард предпринимает первое на немецком языке издание Достоевского – печатает "Записки из Мертвого дома"; или И. Волгин утверждает, что никогда на фотографиях и портретах нет у Достоевского спокойного или величественного лица и только "смерть как бы приглушила этот вечный внутренний непокой". Ну, а как же ряд фотографий Достоевского, в том числе М. М. Панова, после Пушкинской речи или, наконец, знаменитый портрет В. Перова – уж, кажется, более "спокойного или величественного лица" невозможно представить; или И. Волгин спрашивает: "Интересно, где был в это время Николай Николаевич Страхов? Ни в одном источнике, содержащем информацию о болезни и смерти Достоевского, о нем не упоминается". Нет, упоминается. Н. Страхов сам пишет в одном из своих

писем, что он был в это время в доме писателя, однако из всех, кто приходил к Анне Григорьевне, чтобы ее утешить в эти тяжелые дни, лишь один Страхов, как он сам признается, "не сумел ей ничего сказать". Он уже тогда, очевидно, задумал предать Достоевского: не успел петух прокричать три раза, а он уже отрекся от него.

И. Волгин так покоряет нас своим желанием тщательно и скрупулезно реконструировать тот общественный фон, тот духовный климат эпохи, когда шел последний год из жизни гения, что мы прощаем автору даже излишнюю подозрительность по отношению к главному герою своих исторических записок. Так, если Достоевский пишет Н. Любимову в "Русский вестник", что чтение им публично "Братьев Карамазовых" имело "эффект" "чрезвычайно сильный", то И. Волгин считает, что писал это Достоевский не без расчета: "пусть Любимов знает, что роман пользуется успехом у публики"; И. Волгин подозревает Достоевского в том, что он не бывал с Победоносцевым "искренним до конца". А почему бы и нет, тем более они сами оба об этом пишут, и в данном случае Р. Гальцева и И. Роднянская в статье "Раскол в консерваторах" в сборнике "Неоконсерватизм в странах Запада" (М., 1982) тонко отметили, что "действительно в числе знакомых Достоевского были титулованные особы, но атмосфера здесь определялась не сословием, а духовным отбором"; или И. Волгин пытается переосмыслить юбилейный адрес царю, который Достоевский написал по поручению Славянского благотворительного общества; если Достоевский пишет Майкову, что он "че-

ловец чистый, патриот”, “обожаящий государя” и его ли подозревать “в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками или с “Колоколом”, то Волгин считает, что это “грубое, предельно доходчивое (едва ли не в намеренно примитивной форме)” письмо специально написано Достоевским в расчете на то, что его письмо прочтут, и т. д.

Повторяем: все это можно понять и простить, настолько богатейший исторический и культурный фон эпохи открывает нам И. Волгин. Но если бы только это был фон и не больше: тогда бы цены не было работе И. Волгина. Но он пытается из этого фона делать *выводы*, и вот тут с ним никак нельзя согласиться.

Первый вывод – это главный, глобальный вывод, к которому И. Волгин подводит всей своей работой и ради которого она и была, собственно говоря, написана. И. Волгин пытается доказать, что вся предыдущая жизнь Достоевского, которая, как в фокусе, отразилась в последнем годе его жизни и прежде всего, конечно, сам последний год жизни, когда развернулась настоящая охота за царем, в том числе и в доме Достоевского и даже на одной с ним лестнице, сделали писателя сочувствующим народовольцам, причем настолько, что, как считает И. Волгин, проживи Достоевский еще и напиши продолжение “Братьев Карамазовых”, он бы и Алешу Карамазова сделал революционером и чуть ли не цареубийцей.

Но это явная фальсификация, с которой, как мы покажем, согласиться невозможно.

Второй вывод, собственно связанный непосредственно с первым, это попытка И. Волгина уличить А. Г. Достоевскую в том, что она

"скрывала" истинные причины смерти мужа, то есть "скрывала", что одной из главнейших причин (если не самой главной по И. Волгину) был арест народовольца Баранникова, проживавшего на одной лестничной площадке с Достоевским.

Но Анна Григорьевна, как мы покажем в дальнейшем, ничего не скрывала, и И. Волгина подвело здесь, в одном случае, ошибочное прочтение самого важного в данном случае документа – записной книжки Анны Григорьевны 1881 года (как в другом случае, его подвело просто неумение прочесть до конца этот документ).

Упрекая справедливо Л. П. Гроссмана в том, что он сделал Достоевского слишком "правым" в 1934 г. в своей известной статье, И. Волгин сам впадает в другую крайность – делает писателя слишком "левым", не замечая, что это еще хуже, ибо Достоевский, оставаясь всегда *сам по себе*, не будучи ни с Победоносцевым (как хорошо показали И. Роднянская и Р. Гальцева в указанной статье), ни с революционерами, Достоевский был все же, конечно, ближе к "правым", чем к "левым" (естественно, как писал Е. В. Тарле в письме к А. Г. Достоевской, опубл. в "Новом мире", № 1, 1985), это не мешало ему быть гениальным писателем, а даже получается наоборот, если взять его последнюю вершину ("Братья Карамазовы"), и Достоевский, безусловно, вел *искренние* беседы с Победоносцевым. Другое дело, какие выводы делали оба они из этих искренних бесед – вот тут-то они и расходились, и если, скажем, Победоносцев требовал смертной казни В. Засулич, то Достоевский, по словам С. Либрови-

ча, (в его книге "На книжном посту". Пг.-М., 1916), говорил о выстреле Веры Засулич и о суде над ней: "...Наказание тут неуместно и бесцельно... Напротив, присяжные должны бы сказать подсудимой: "у тебя грех на душе, ты хотела убить человека, но ты уже искупила его, - иди и не поступай так в другой раз..." (Вот, кстати, для О. Чайковской и все решение Достоевским проблемы преступления и наказания.)

И доживи Достоевский до 1 марта 1881 г., возможно, что и он, в отличие от Победоносцева, требовавшего смертной казни убийцам Александра II, вместе с Вл. Соловьевым просил бы отменить смертную казнь.

Задавшись целью сделать Достоевского слишком "левым", И. Волгин уже не замечает, что он впадает в противоречия, когда пишет, например: "Убежденный противник революции (и всех форм революционного насилия), он вместе с тем остается искренним приверженцем ее высших нравственных целей", или уж совсем доходит до фантастического утверждения: "Нет ничего невероятного в том, что будущий Алеша доходит даже до идеи цареубийства".

На чем же основывается это абсурдное заключение И. Волгина? На одной записи А. С. Суворина, который в своем "Дневнике" (М.-Пг., 1923) якобы со слов Достоевского записал, что писатель "сказал, что напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду, и в этих поисках, естественно, стал бы революционером..."

Конечно, идея сделать революционером Алешу крайне заманчива (тем более, что эти революционеры, оказывается, живут на одной площадке с самим создателем Алеши), заманчиво настолько, что даже Д. Благой, тоже считая, что Достоевский намерен был сделать Алешу революционером, доходит в свою очередь до нелепого утверждения, что Анна Григорьевна "знала о трагической судьбе Алеши, намеченной писателем, но в силу особенной остроты данной темы или по каким-то другим соображениям не сочла возможным сообщить об этом (ее воззрения отличались слишком прямолинейно-верноподданническим характером)" (Известия ОЛЯ\*, № 1, 1974). (Интересно бы узнать, по "каким это другим соображениям", не говоря уже о том, что в данном случае воззрения Достоевского ничем не отличались от воззрений его жены.)

Ну, а как же быть с записью Суворина? И вот, оказывается, И. Волгин сознательно, в угоду своей концепции сделать Достоевского слишком "левым", а его героя революционером, ни разу не упоминает о том, что сомнения в точности прочтения и воспроизведения отдельных мест дневника Суворина, в том числе и данной его записи, в печатном издании ввиду неразборчивости автографа были высказаны еще Н. Роскиной в шестом номере "Вопросов литературы" за 1968 год (не говоря уже о том, что эта запись Суворина могла относиться к мальчику Красоткину).

Но И. Волгин тоже сознательно упоминает

---

\* Отделение литературы и языка АН СССР.

лишь мимоходом, как бы невзначай, еще об одной версии продолжения "Братьев Карамазовых", именно мимоходом, почти не раскрывая ее, так как эта версия противоречит его идее сделать Алешу революционером. А между тем на ней как раз и надо остановиться подробнее, ибо эта версия исходит от Анны Григорьевны, а во-вторых, именно эта версия больше, конечно, отвечает и духу романа, и образу Алеши, каким его представлял себе сам Достоевский.

Летом 1898 года, то есть за год до выхода своей биографической книги о Достоевском, кстати, первой биографии писателя на немецком языке, исследовательница Нина Гофман специально приезжала в Петербург, чтобы собрать все необходимые биографические данные у друзей и близких писателя. Вот что пишет А. Г. Достоевская в одной из глав своих "Воспоминаний", которая так и называется "Nina Hoffmann": "Летом 1898 г. до меня дошел слух, что в столицу приехала из Вены г-жа Nina Hoffmann, автор нескольких немецких статей о произведениях Достоевского. Говорили, что она задумала о нем большое произведение... В Петербурге г-жа Гофман познакомилась с некоторыми нашими литераторами (между прочим, с Вл. Соловьевым) и, наконец, приехала познакомиться со мной. Узнав, что она поклонница таланта моего мужа и пишет о нем и его произведениях, я приняла ее как истинного друга..."

В своей книге "Th. M. Dostoevsky" (Berlin, 1899) Н. Гофман, опираясь на сведения, полученные от Анны Григорьевны, рассказывает о втором романе о Карамазовых: "Алеша должен был, таков был план писателя, по завещанию

старца Зосимы идти в мир, принять на себя его страдания и его вину. Он женится на Лизе, потом покидает ее ради прекрасной грешной Грушеньки, которая пробуждает в нем карамазовщину, и после бурного периода заблуждений и отрицаний, оставшись бездетным, облагороженный, возвращается опять в монастырь; он окружает себя там толпой детей, которых он до самой смерти любит и учит и руководит ими. Кому не придет здесь в голову связь с рассказом Идиота о детях, кто не вспомнит маленького героя, все те восхитительные детские черты, которые открывает только любовь”.

Не надо в чем-то подозревать Анну Григорьевну, ибо если бы это было так, то Вл. Соловьев, с которым Нина Гофман тоже встречалась, мог бы поправить Анну Григорьевну, так как во время поездки с Достоевским в Оптину пустынь писатель изложил Вл. Соловьеву суть будущего романа о Карамазовых.

Но, может быть, Нина Гофман что-нибудь напутала? Нет, есть косвенное подтверждение первой части записи Нины Гофман. В 1916 г. Анна Григорьевна сообщила А. А. Измайлову, что в будущем романе Алеша уже был не юношей, а зрелым человеком, ”пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой” (см. ”Биржевые ведомости”, 28 января 1916).

Наконец, есть отчасти и подтверждение и второй части записи Нины Гофман. Среди черновых заметок самого Достоевского, относящихся к роману, Алеша Карамазов неоднократно называется Идиотом, как и у Гофман, что свидетельствует о его духовном родстве с Мышкиным.

Но самое главное заключается, конечно, в

том, что попытка сделать Алешу революционером (про то, что не просто революционером, а еще и цареубийцей, я уже и не говорю: здесь И. Волгина так высоко занесло, что обратно он так и не смог спуститься) абсолютно противоречит всей сути образа Алеши в понимании самого Достоевского.

А между тем И. Волгин в своем неумемном желании сделать Алешу революционером доходит до полной фальсификации: он первый, за сто лет, до этого никому это и в голову не приходило, разгадывает, оказывается, "сокровенный" смысл эпиграфа к "Братьям Карамазовым" (с учетом того, что если бы Достоевский написал продолжение романа, сделав Алешу революционером): "гибель Алеши на эшафоте есть искупление. "Много плода" дается гибелью главного героя".

Но это же абсурд! Эти слова из Евангелия от Иоанна выражают одну из важнейших основ метафизики Достоевского: весь мир есть мир идей, и не только идея подобна зерну, но и зерно, но и семя есть зародыш идеи. Идея, по Достоевскому, семя потустороннего мира; всход этого семени на земле - тайна каждой человеческой души.

Таким образом, великий христианский смысл евангельских слов - Воскресение Христа - превращается в "гибель Алеши на эшафоте", хотя, очевидно, И. Волгин понимает, что между смертью Христа и смертью цареубийцы есть, мягко говоря, "маленькая" разница.

Но И. Волгина заносит все дальше и дальше. И он нам преподносит такие "откровения", что узнай о них сам Достоевский, он бы в гробу перевернулся: Достоевский "по самому

своему творческому духу был глубоко родствен той всеразрушающей силе, которая вызрела в недрах русской исторической жизни и была готова смести ее вековые устои"; Достоевский стал "духовным предтечей русской революции" (и это о Достоевском, который за полгода до смерти сказал: "Смирись, гордый человек!"); Алеша Карамазов "готовился в царубийцы. "Машина" была заведена - и взрыв мог грянуть в любую минуту. Он не чувствовал себя вправе губить тех, кто завел "машину": среди них мог оказаться его любимый герой. Ему оставалось умереть" (кому - Достоевскому или Алеше?). Но разве мог тот Алеша, который пережил *такой* момент после смерти своего друга и учителя, когда "душа его" вся трепетала, "соприкасаясь мирам иным", стать революционером, да еще царубийцей? Неужели И. Волгину неясно, что именно в главе "Кана Галилейская" Достоевский показывает, что *воскресение, возрождение* победило в душе Алеши смерть и тление, и после того как он припал к земле, он пережил новое духовное рождение, став *христианским* (не революционным) бойцом.

Но, а что же все-таки с версией Суворина, если учесть также, что существует еще несколько версий (их тоже не приводит И. Волгин) и ни в одной из них нет даже намек на версию Суворина?

Но, может быть, это не совсем искренняя запись Суворина? Однако утверждать, как утверждает, например, книговед Е. Динерштейн в статье "Издательская деятельность А. С. Суворина" (см. "Книга. Исслед. и материалы", сб. 48, 1984 г.), что "как всегда, Суворин был

неискренен”, — нелепо. Если бы Суворин был, действительно, ”всегда неискренним”, то тогда непонятно, как могли его полюбить Н. Лесков, А. Кони, А. Плещеев, М. Савина и еще десятки замечательных людей, а уж о Достоевском и Чехове я и не говорю, ибо невозможно себе представить, чтобы такие бесконечно искренние люди, как Достоевский и Чехов, могли полюбить ”всегда неискренного” человека.

Так что же здесь было на самом деле, если Суворин, конечно, записал точно слова Достоевского (в чем усомнилась справедливо Н. Роскина)? Я думаю, что здесь могло быть тогда то же самое, что произошло у Достоевского с Тургеневым, во всяком случае, в передаче И. Ясинского в его воспоминаниях ”Роман моей жизни” (М.—Л., 1926). Мемуарист рассказывает, как однажды пришел Достоевский к Тургеневу, чтобы, якобы, покаяться в совершенном им преступлении: ”Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотой ваших этических взглядов измерить бездну моей низости!” И Достоевский рассказал, что он совершил то самое преступление, в котором его потом обвинял в письме к Л. Н. Толстому Н. Н. Страхов. ”Я вижу, как гневно загорелись ваши глаза, Иван Сергеевич. Можно сказать, гениальные глаза, выражение которых я никогда не забуду до конца дней моих!” ”Федор Михайлович, уходите!” — воскликнул возмущенный Тургенев. А Достоевский уходя сказал: ”А ведь это я все изобрел-с, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения”. По словам И. Ясинского, Тургенев, уже после ухода Достоевского, согласился с тем, что тот весь этот эпизод выдумал. Судя

по записи Ясинского, Достоевский придумал это "преступление" специально, чтобы "по-злить", мистифицировать Тургенева.

В случае с Сувориным мог быть тот же вариант. Зная прекрасно своего собеседника, т. е. Суворина, зная прекрасно, кто перед ним, зная прекрасно, что на Суворина одна лишь идея, что Алеша станет революционером, подействует, как красная тряпка на быка, Достоевский мог Суворина помистифицировать, как Тургенева.

Но есть еще одно обстоятельство, поддерживающее некоторые сомнения Н. Роскиной по поводу подлинной расшифровки этой записи Суворина. Дело в том, что его "Дневник" вышел в издательстве "Л. Д. Френкель" в 1923 году. Через год в этом же издательстве вышел "Дневник" генеральши А. В. Богданович. Так вот, оказывается, издательство "Л. Д. Френкель" произвольно назвало этот дневник "Три последних самодержца", хотя последняя запись в печатном издании датируется 1912 г. (Отметим, кстати, что хотя А. В. Богданович знала близко Суворина, но в ее дневнике нет ни слова об Алеше-революционере. Вероятно, и сам Суворин сомневался в этой версии, если не сказал о ней даже близким людям: боялся, чтобы не подняли его на смех.)

И. Волгин ссылается на дневник А. В. Богданович как на доказательство того, что идея похоронить Достоевского именно в Александро-Невской лавре принадлежала генеральше, а духовенство лавры выступило против и, таким образом, Анна Григорьевна напрасно приписывает это лавре в своих "Воспоминаниях".

Но Анна Григорьевна ничего не выдумывает:

сохранились церковные документы, говорящие о том, что все было именно так, как она и пишет, хотя, естественно, это не исключает того, что А. В. Богданович тоже могла прийти мысль о захоронении Достоевского в Александро-Невской лавре.

Я бы, вообще, на месте И. Волгина не очень доверялся генеральше А. В. Богданович. Это была неумная дама. Вот что она, например, записывает в своем дневнике 29 марта 1881 г. "Говорят, их повесят в пятницу. Дай Бог, чтоб попытали. Я не злая, но это необходимо для общей безопасности, для общего спокойствия. Вчера профессор Соловьев (философ) сказал речь, где, говоря про настоящие события, оплакивая их, в конце коснулся суда, взывал к милосердию царя и заключил, что если этого не случится, т. е. милостивого прощения, "то мы, люди мысли, от него отвернемся". Как эти господа такими речами решаются волновать молодежь! Вот они, враги своего отечества!"

Попытка в чем-то уличить Анну Григорьевну, подозревая ее в разных "грехах", привели И. Волгина ко второму ошибочному выводу.

И. Волгин утверждает, что Анна Григорьевна "не жаловала политики", "всячески избегает опасных и двусмысленных (с ее точки зрения) тем". В ее воспоминаниях Достоевский "наглухо отделен от мира русской революции". Анна Григорьевна "ни словом не упоминает о трагедии Ишутина, нам (Волгину. - С. Б.) удалось установить, что именно в день его "казни" - 4 октября 1866 года - она познакомилась со своим будущим мужем".

Но это неверно. Анна Григорьевна пишет, например, о покушении польского революцио-

нера А. Березовского на Александра II в 1867 г. в Париже, причем известно, что Достоевский был возмущен попыткой суда присяжных оправдать Березовского и свое резко отрицательное отношение к террористу выразил в письме к А. Н. Майкову от 16/28 августа 1867 года.

Анна Григорьевна пишет в своих "Воспоминаниях", что Достоевский читал за границей А. И. Герцена, что 11 сентября 1867 г. они были в Женеве на конгрессе "Лиги мира и свободы", где выступали деятели I Интернационала, причем Анна Григорьевна пишет, что Достоевский "вынес тягостное впечатление", и в качестве подтверждения этого приводит тут же письмо Достоевского к С. А. Ивановой от 11 октября 1867 г.: "Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру, большие государства уничтожить и поделить маленькие; все капиталы прочь, чтобы все было общее по приказу, и проч. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще двадцать лет тому назад наизусть, да так и осталось. И главное — огонь и меч — и после того как все истребится, то тогда, по их мнению, и будет мир".

Здесь же в "Воспоминаниях", вслед за Березовским, Анна Григорьевна пишет и о покушении Каракозова.

Но ведь если бы Анна Григорьевна была такой, какой ее пытается изобразить И. Волгин, то, наоборот, она как раз и сообщила бы о событиях, которые происходили в квартире напротив них. Вот, видите, эти бесы даже Достоевского не пожалели!

Наконец, Анна Григорьевна пишет в своих "Воспоминаниях" о "злодействе 1 марта".

Конечно, И. Волгин прав, и Анна Григорьевна, действительно, не упомянула о казни Ишутина 4 октября 1866 г. Но ведь в этот день она впервые пришла к самому Достоевскому, который стал ее богом, единственным смыслом ее существования, и она ведь полюбила Достоевского, еще не осознавая, уже до первой встречи. Так что ей там какой-то Ишутин, когда она 4 октября 1866 г. впервые увидела свое божество!

Да и можно ли требовать от *семейных* воспоминаний, чтобы они были *политическими*?!

Но допрос с пристрастием Анны Григорьевны продолжается. И. Волгин пишет, что к родственникам Достоевского Анна Григорьевна "всегда испытывала инстинктивную, продиктованную заботой о собственной семье, неприязнь".

Это неверно. Достаточно прочесть отзывы о Верочке Ивановой в "Воспоминаниях" Анны Григорьевны или узнать о помощи Николаю Достоевскому после смерти писателя, или прочесть ее переписку с Андреем Михайловичем Достоевским, или вспомнить о поездке в Даровое в 1884 г. к сестре Достоевского Верочке, которая была главной виновницей смерти писателя (значит, простила ее Анна Григорьевна и зла не таила), чтобы убедиться в ошибочности этого утверждения И. Волгина.

Если Достоевский пишет Анне Григорьевне, что надо детям непременно купить гостинцев, и добавляет, что "детям и медицина предписывает сладкое", то И. Волгин делает вывод, что "счастливая, в общем, семейная жизнь Достоевского была далека от идиллии". И. Волгин пишет, что черновые записи Анны Григорьевны

не всегда поддаются расшифровке. Но здесь и заключается основная его ошибка в допросе с пристрастием жены писателя. И. Волгин не только не знает, что все эти черновые записи Анны Григорьевны 1881 года уже давно расшифрованы, но даже, к сожалению, не все прочел из того, что вообще не зашифровано.

В статье "На углу Кузнечного и Ямской (Последняя квартира Достоевского и явка народо-вольцев)" ("Лит. газ." 3 ноября 1982 г.) доктор исторических наук В. А. Твардовская, рассказывая об аресте соседа писателя народо-вольца А. И. Баранникова в январе 1881 г., делает вывод: "Но даже если писатель и вовсе не был знаком с жильцом из соседней квартиры, то и тогда арест и обыск в его доме не могли не потрясти Достоевского - человека с обостренной впечатлительностью и необычным воображением..."

Рассматривая запись А. Г. Достоевской в ее записной книжке 25 января 1881 г. - "Вечером ходил гулять, а затем...", В. А. Твардовская пишет: "Здесь запись открытым текстом обрывается и следуют стенографические значки, пока не расшифрованные. Что было "затем" - после вечерней прогулки, накануне той ночи, когда у Достоевского пошла горлом кровь, - не известно и из воспоминаний Анны Григорьевны, хотя опиралась мемуаристка на свои дневниковые записи. Восстанавливая события 25 января, она не воспользовалась зашифрованными строчками. Не исключено, что именно во время прогулки Достоевский мог узнать об аресте жильца из одиннадцатой квартиры".

Наконец, отмечая, что 26 января в доме, где жил Достоевский, был арестован Н. Колод-

кевич, и указывая, что вечером этого же дня у писателя возобновилось кровотечение, которое А. Г. Достоевская в письме к Н. Страхову 21 октября 1883 г. объяснила тяжелым разговором писателя с сестрой В. М. Ивановой о наследстве богатой родственницы, В. А. Твардовская заключает: "Все же, по-видимому, Достоевского угнетали не только семейные раздоры и заботы о будущем детей, но и то, что происходило в доме. Возможно, слух о новом аресте проник в квартиру писателя и усугубил его нездоровье".

Однако это ошибочный вывод. Прежде всего, это недостоверно психологически. Трудно представить, чтобы человек такой железной воли, каким называл, например, Достоевского в ссылке Александр Егорович Врангель или его дочь Любовь Федоровна, человек, прошедший каторгу и ссылку, стоявший на эшафоте в ожидании смерти, когда жить ему оставалось, как он сам писал, "не более минуты", - вдруг так был "потрясен" арестом и обыском в его доме, что у него началось кровотечение, а еще один арест "усугубил его нездоровье" и фактически привел к смерти. (Кстати, И. Волгин, рассказывая о шестой попытке убийства царя, пишет, что "в момент, казалось бы, реальной опасности Достоевский сохраняет полнейшее присутствие духа").

Еще более невозможно представить тот факт, что Достоевский, проживший с Анной Григорьевной душа в душу четырнадцать лет, никогда ничего не скрывавший от нее (письма его к жене достаточно убедительно об этом свидетельствуют), скрыл от нее самое важное - причину своей смерти, то есть что он

узнал об аресте в его доме революционера и у него поэтому от волнения началось кровотечение.

Но, может быть, Достоевский все-таки сказал об этом своей жене, а она побоялась указать на эту причину смерти мужа в своих "Воспоминаниях"? Но "Воспоминания" Анна Григорьевна закончила в 1916 году - неужели через тридцать пять лет Анна Григорьевна "испугалась" написать о том, что причиной смерти Достоевского был арест народовольца в его доме? Конечно, нет. Ведь Анна Григорьевна не испугалась гораздо более тяжелых вещей: она не испугалась в своих "Воспоминаниях" целую главу под названием "Ответ Страхову" посвятить гнусной клевете Страхова, появившейся в печати, - о том, что Достоевский, как и его герои Свидригайлов и Ставрогин, сам тоже совершил это тяжкое преступление - растлил малолетнюю девочку.

Согласитесь, для женщины, боготворившей своего мужа, считавшей его идеалом нравственности, вдруг прочесть о нем *такое*, да еще писать об этом в своих мемуарах, - это страшно, гораздо страшнее ареста народовольца. Анна Григорьевна могла бы и не писать в своих воспоминаниях об этой клевете Страхова, сделав вид, что она ничего ней не слышала, и никто бы, конечно, не посмел упрекнуть ее за это умолчание. Но у Анны Григорьевны хватило мужества на пороге смерти написать об этом в своих воспоминаниях, - тем более она бы, конечно, не побоялась написать о том, что арест народовольца так "потряс" Достоевского, что он умер. Если бы, конечно, знала об этом. Но она не знала об этом по той простой при-

чине, что никакой арест народовольца не "потреяс" Достоевского.

Об этом совершенно ясно и недвусмысленно свидетельствует записная книжка Анны Григорьевны Достоевской. То, что В. А. Твардовская в записной книжке Анны Григорьевны за воскресенье 25 января 1881 года в нерасшифрованной записи "Вечером ходил гулять, а затем..." приняла за умышленное сокрытие Анной Григорьевной того факта, что Достоевский во время прогулки узнал об аресте в своем доме народовольца, — уже давно расшифровано замечательной ленинградской стенографисткой Ц. М. Пошеманской. Оказывается, Достоевский страдал расстройством желудка и часто ходил в туалет (Анна Григорьевна обозначала это словом "дело"). Так и в данном случае после прогулки он пошел в туалет. Вполне естественно и понятно, что когда Анна Григорьевна писала свои воспоминания, "она не воспользовалась зашифрованными строчками", т. е. решила об этом не писать.

И. Волгин учитывает эту ошибку В. А. Твардовской, однако сам в свою очередь допускает три ошибки. Анна Григорьевна, действительно, не скрывала причину смерти Достоевского. Его сестра Вера Михайловна Иванова обратилась к нему с просьбой отказать в пользу сестер от своей доли в доставшемся ему по наследству от умершей тетки Куманиной рязанском имении. По воспоминаниям дочери писателя, между братом и сестрой произошел бурный разговор о куманинском наследстве. Достоевский не хотел отказываться от рязанского имения, зная, что у него подрастают дети. Через тридцать пять

лет Анна Григорьевна говорила писателю А. Измайлову, что, освободившись за год до смерти от долгов, Достоевский "мечтал о маленьком имении, которое и обеспечило бы детей, и сделало бы их, как он говорил, почти некоторыми участниками в политической жизни Родины". Но особенно потрясло Достоевского, что об этом с ним приехала говорить его любимая сестра Вера, дочери которой он посвятил роман "Идиот" и назвал в честь нее свою первую дочь именем Софья. И вот, когда он колоссальным трудом, и исключительно благодаря Анне Григорьевне, лишь к концу жизни достиг хоть небольшого материального благополучия и имение дало бы ему возможность позаботиться о детях, а самому работать там над продолжением "Братьев Карамазовых", вдруг его хотят лишить этого. И кто? Сестры. А просить приехала Верочка, как ласково называл он сестру. А ведь у нее уже было свое имение в Даровом.

Об этом же крупном разговоре писателя со своей сестрой Анна Григорьевна рассказала в письме к Н. Н. Страхову от 21 октября 1883 года, а в своей записной книжке 1881 года точно указала, что В. М. Иванова, действительно, была у Достоевского, только в судороге предсмертных дней мужа спутала и написала, что В. М. Иванова была не в понедельник 26 января 1881 года, а во вторник 27 января: "...Во вторник была Штакеншнейд[ер], Орест Миллер, ходила за виноградом, ел икру с бел[ым] хлебом, пил молоко. Был Кошлаков, а после него Бретцель, разъехались. Ходил кой-куда, освежали комнату. Вечером Верочка и Павел Александ[рович]..."

Здесь И. Волгин делает первую ошибку. Он принимает Верочку не за сестру писателя Верочку Иванову, а за жену его пасынка Павла Александровича Исаева, не зная, что ее звали Надежда Михайловна.

Наконец, решающим доказательством, что главной причиной, ускорившей смерть Достоевского, был его разговор с сестрой В. М. Ивановой, является отзыв умирающего писателя о сестрах в записной книжке жены 1881 года после его причащения — отзыв, который Анна Григорьевна, записав частично стенографически, не решилась даже весь расшифровать (здесь И. Волгин делает вторую ошибку, не зная, что все зашифрованные места в записной книжке Анны Григорьевны 1881 года расшифрованы Ц. М. Пошеманской): "...[Я причастился, исповедался, а все-таки не могу равнодушно подумать о сестрах]. Какие они не справедливые..." (на запись "Какие они не справедливые..." И. Волгин не обратил внимания, не до конца прочтя эту книжку жены писателя).

Можно представить себе, как на Достоевского подействовал разговор с сестрой, если даже после причащения он не успокоился. Однако в своих "Воспоминаниях", работу над которыми Анна Григорьевна завершила в 1916 году, она не стала называть фамилию В. М. Ивановой и рассказывать о ее неприятном разговоре с Достоевским, ускорившем его смерть. Сделала это Анна Григорьевна из чисто этических соображений. Еще были живы трое детей В. М. Ивановой. В "Воспоминаниях" Анна Григорьевна сообщила лишь о первом кровотечении мужа в ночь с 25 на 26 января 1881 года, когда он

отодвинул тяжелую этажерку, чтобы найти вставку с пером.

Третья ошибка И. Волгина не так существенна, как две первые, просто она говорит о том, что он невнимательно работал. А. Г. Достоевская пишет, что в понедельник 26 января 1881 года "пришел к нам один господин очень добрый и который был симпатичен мужу". И. Волгин принимает "одного господина", с которым Достоевский говорил 26 января 1881 г. о будущем "Дневнике" и они горячо спорили, — за Веру Михайловну Иванову.

Непонятно, почему женщину надо выдавать за мужчину, а во-вторых, это нелепо, чтобы Достоевский говорил с сестрой о "Дневнике", да еще спорил по поводу статьи в будущем "Дневнике", зная, что она в этом ничего не понимает.

Скорее всего, это был А. Н. Майков, который, как пишет Анна Григорьевна в записной книжке 1881 г., действительно, говорил с Достоевским об окончании "Дневника писателя", о февральском будущем номере "Дневника", о том, что Достоевский хочет в нем опубликовать.

Только в судороге предсмертных дней Анна Григорьевна перепутала, когда приходил Майков — 25-го или 26 января. Характерно, что в своей записной книжке Анна Григорьевна ни о каком таком "одном господине" не упоминает. Почему же Анна Григорьевна в 1916 году, когда закончила работу над своими "Воспоминаниями", не назвала этого господина? Да из чисто этических соображений: еще были живы дети Майкова.

Вывод отсюда может быть только один: не

надо ни в чем подозревать или уличать женщину, которой Достоевский посвятил величайший роман мировой литературы.

Но главное для И. Волгина сделать Достоевского "левым" и не просто "левым", а "слишком левым". И тогда, оказывается, как считает И. Волгин, Анна Павловна Корба заходила к Достоевскому по дороге к Баранникову\*. Но тогда почему же она ни разу в советское время ни в одном из мемуарных свидетельств (а их было три) не упомянула, что была у Достоевского? Казалось бы, уж можно было не скрывать, а гордиться публично знакомством с гением. И вот уже у И. Волгина Баранников прятал революционную литературу в квартире Достоевского, в кладовке среди массы книг, подружившись с мальчиком Петей. Однако почему-то этот мальчик Петя, ставший впоследствии известным советским книгопродавцом П. Г. Кузнецовым, ни звука не говорит об этом в своих печатных воспоминаниях, о работе в книжной лавке писателя, хотя как бы, вероятно, здорово вспомнить о своей дружбе с самим Баранниковым!

Вот уже И. Волгин утверждает, что Достоевский "не брал на себя смелость по пунктам ответить на сакраментальный вопрос: что делать?". Но ведь Достоевский уже ответил на этот "сакраментальный вопрос" в Пушкинской речи: "Смирись, гордый человек!"

И. Волгин эффектно пишет, что на одной лестничной площадке с Достоевским жил член Исполнительного комитета "Народная воля"

---

\* Чл. ИК партии "Народная воля".

А. И. Баранников, и далее: "В двух шагах от квартиры Достоевского мирно распивают чай три члена Исполнительного комитета "Народной воли" и самый наисекретнейший его агент".

Но что бы сказал И. Волгин, знай он о том, что в том же Петербурге, на Литейном проспекте, В. И. Ленин, нелегально приехав в столицу, обсуждает у издательницы и книгопродавца А. М. Калмыковой с В. И. Засулич (тоже, кстати, находившейся здесь нелегально) и с петербургскими социал-демократами план издания "Искры", а буквально за стеной живет обер-прокурор Синода К. Победоносцев. (О том, что Победоносцев жил рядом с М. Салтыковым-Щедринным, - И. Волгин, вероятно, знает.)

О чем это говорит? Только об одном. О том, что в Петербурге не было проблемы с жилплощадью, и больше ни о чем.

И в заключение еще об одном, пожалуй, о самом главном. К сожалению, есть вещи, где И. Волгин, возможно, и неожиданно для него, солидаризируется с О. Чайковской, с ее тезисом "Гений и злодейство - две вещи совместные".

Основная посылка И. Волгина следующая:

"Террор - даже самый "бескорыстный" - не мог вызвать в авторе "Преступления и наказания" ни малейшего сочувствия. Скорее наоборот. Однако распространялось ли это нравственное отвержение на личность тех, кто, рискуя собой, поднимал оружие?"

Но разве И. Волгин не знает, что Нечаев тоже рисковал собой, или Березовский, стрелявший в Александра II? Но разве И. Волгин

не знает отзыва Достоевского о Березовском, назвавшего этого террориста г...

И вот уже И. Волгин с упоением описывает, как Степняк-Кравчинский всадил кинжал в Мезенцева, как Халтурин подложил "динамит к юбилею". (Создается впечатление, что И. Волгин даже как будто рад этому!) А ведь речь идет об убийцах, и эти бесы для Достоевского были пострашнее Нечаева, ибо Нечаев убил студента Иванова, а эти бесы убили царя и не просто царя, а царя-освободителя крестьян и славян и не просто царя-освободителя крестьян и славян, а царя, который все сделал лично для Достоевского и как писателя, и как человека, а уж о других "случайных" жертвах народовольческой охоты за царем я и не говорю.

И вот И. Волгин иезуитски нас убеждает, что "нравственные истоки" преступления Нечаева и Алеши-цареубийцы различны, и вина Верховенского "перетягивает" предполагаемую вину Алеши.

Так ведь это же казуистика. Неужели непонятно И. Волгину, что нравственные истоки преступлений Нечаева и Алеши одни и те же и что вина Алеши-цареубийцы в миллион раз страшнее!

К сожалению, И. Волгин здесь не одинок (хотя, конечно, никто до Алеши-цареубийцы не доходит). Уже стало притчей во языцех говорить о том, что в "Бесах" Достоевский имел в виду не тех бесов, а других бесов, то есть Нечаева и иже с ними, и даже пишут, что, разоблачая в лице Нечаева левацкий мелкобуржуазный уклон, Достоевский чуть ли не с К. Марксом солидаризировался в этом разоблачении или, во всяком случае, как и Маркс

предупреждал об опасности, подстерегающей *настоящее* революционное движение, если оно пойдет по пути Нечаева и ему подобных.

Но это заблуждение. Дело в том, что Достоевский выступал не против того или иного революционера, для него было все равно, как его звали, Каракозов, Нечаев, Желябов или еще как-нибудь. Достоевский выступал против *общей категории бунта*, независимо от того, какую конкретную форму этот бунт примет, чьим именем бунт этот будет освящен. Для Достоевского любой революционный бунт, любая революция это не экономический бунт, не экономическая революция, а бунт против Бога, ибо если Бога нет, то все позволено.

Но И. Волгин идет еще дальше и начинает сомневаться в вере Достоевского (вот здесь он окончательно смыкается с О. Чайковской). И. Волгин пишет: "Победа, по-видимому, останется за этим несловоохотливым персонажем". Это говорится о Христе в его молчании перед Великим Инквизитором. Самое замечательное здесь у И. Волгина, это конечно, вот это словечко "по-видимому".

И вот уже у И. Волгина и "церковь" Достоевского "нимало не похожа на существующую историческую церковь". И "официальная церковь в лучшем случае индифферентна к самому Достоевскому и его делу".

Конечно, это эффектно сказано, если представлять писателя слишком "левым", но это неверно по существу. Разве И. Волгин не знает, что И. Л. Янышев - ректор Петербургской духовной академии - был большим другом Достоевского и сказал о нем и "его деле" вдохновенное слово, разве И. Волгин не знает,

что священник И. Румянцев был замечательным другом писателя, а уж о близости "официального" Победоносцева к "самому Достоевскому и его делу" я и не говорю.

И. Волгину кажется, что он окончательно "развенчивает" православную веру Достоевского, когда он приводит слова К. Леонтьева о том, что в Оптиной пустыни православным сочинением "Братьев Карамазовых" не признают и отрывок из письма Вл. Соловьева к К. Леонтьеву, где Вл. Соловьев пишет, что Достоевский "стать на действительно религиозную почву никогда не умел" (И. Волгин даже как будто радуется этому).

Но И. Волгин не замечает, что все здесь совсем не просто. В *противостоянии* К. Леонтьева и Достоевского мы ближе к Достоевскому. Любовь и человечность — не "розовость". Достоевский тут в старцах "угадал лучше", как и в кое-чем другом. Конечно, и Ферапонт, и "старец, подвергшийся тлению", даже и не стилизованы, а несколько *романсированы*. Это закономерно и неизбежно было для Достоевского: у него ведь реализм особый, ни под какой тип его не подведешь! И надо прочитывать все верно, не сквозь леонтьевскую суховатую прозу. Сам К. Леонтьев характерен тоже, как один из русских старцев. Но он не добрался до настоящей, т. е. благодатной, харизматической духовности. А просто был умным и горячим (как увидим дальше, иногда и слишком горячим) сыном своего народа.

В свое время В. Розанов точно заметил: "Если это не отвечало типу русского монашества XVIII-XIX веков (слова Леонтьева), то, может быть, и даже наверное, *отвечало типу*

монашества IV-IX веков". К Златоусту Достоевский, действительно, во всяком случае ближе (и именно в своих социальных мотивах), чем К. Леонтьев. Розанов прибавляет: "Вся Россия прочла его "Братьев Карамазовых", и изображению старца Зосимы поверила. "Русский инок" (термин Достоевского) появился, как родной и как обаятельный образ, в глазах всей России, даже неверующих ее частей".

Старец Зосима и не был списан с натуры, и не только от Оптиных образов Достоевский исходил. Это был "идеальный" или "идеализированный" портрет, писанный больше всего с Тихона Задонского. Силою своей художественной прозорливости Достоевский угадал и распознал эту серафическую струю в русском благочестии и намеченную линию пророчески продолжил.

И. Волгин не заметил одного странного противоречия. Тот же Вл. Соловьев сразу после смерти писателя в "Трех речах в память Достоевского" (1881-1883) утверждал совсем другое, чем в более позднем письме к Леонтьеву: "...Только связав себя с Богом в Христе и с миром в Церкви, можем мы делать настоящее Божье дело, - то, что Достоевский называет *православным делом*..." В приложении к своим "Трем речам в память Достоевского" (М., 1884) Вл. Соловьев дал "Заметку в защиту Достоевского от обвинения в "новом христианстве" по поводу труда К. Леонтьева "Наши новые христиане..." (М., 1882), где Вл. Соловьев утверждал: Достоевский "решительно свободен" от "заблуждений псевдохристианства". Вл. Соловьев называет Достоевского "замечательным человеком" и пишет, что свои лучшие упования

для человека Достоевский основывает на действительной вере в Христа и Церковь: Достоевский "верил в человека и в человечество только потому, что он верил в богочеловека и богочеловечество, - в Христа и в Церковь".

Тогда в чем же дело? Почему письмо Вл. Соловьева к К. Леонтьеву так диаметрально противоположно по смыслу словам Вл. Соловьева в его "Трех речах в память Достоевского"? Неужели Вл. Соловьев менял свои убеждения, как рубашки? Нет. И. Волгин, как и О. Чайковская, явно путают здесь времена и нравы. Р. Гальцева и И. Роднянская в указанной статье "Раскол в консерваторах" в сборнике "Неоконсерватизм в странах Запада" (М., 1982) совершенно справедливо пишут о том, что, "повидимому, сведения, исходящие от Леонтьева, требуют осторожного отношения ввиду того, что из-за присущей ему странной захваченности в любом принципиальном споре он часто переакцентирует и перекраивает сообщаемые факты и мнения", и далее: "Подобные казусы заставляют предположить, что Леонтьев столь же произволен, когда он сообщает высокомерный отзыв Соловьева о религиозности Достоевского, будто бы содержащийся в одном из писем Соловьева, которое Леонтьев цитирует явно по памяти и без указания даты".

Повторяем то, с чего мы начали обзор работы И. Волгина "Последний год Достоевского". Если бы И. Волгин ограничился только "народовольческим" фоном, сопутствующим жизни и творчеству писателя в последний период его жизни, то цены бы не было этой талантливой и интересной работе, но те "революционные" выводы, под которые пытается автор подогнать этот

фон, в значительной степени снижают ее достоинства.

Что же касается эссе О. Чайковской "Из двух источников", то уже, к великому сожалению, появились и первые последствия ее "развенчания" национального достояния России (хочу верить, что О. Чайковская сама не хотела таких последствий). Только что закончился капитальный ремонт самого знаменитого дома в Ленинграде, дома, известного во всем мире, дома, куда уже свыше 100 лет ходят все, кому дорога русская культура.

Это дом купца Аломкина, нынешний адрес Казначейская, 7, дом, где Достоевский написал романы "Игрок" и "Преступление и наказание", дом, куда пришла молоденькая стенографистка Нечочка Сниткина, ставшая женой, верным другом и помощником писателя, дом, где Достоевский наконец-то обрел личное счастье.

Так что же сделали строители в самом конце капитального ремонта этого дома? Они *заделали* (!) лестницу Достоевского! Ах, сюда все ходят уже более ста лет, Генрих Бёлль снимал здесь свой фильм "Достоевский и Петербург", Артур Миллер целовал здесь каждую ступеньку, Даниил Гранин и Д. С. Лихачев провели здесь много вдохновенных часов, здесь снимали фильм "Преступление и наказание", — так больше не будут ходить! Мы возьмем и заделаем лестницу, назло всему миру, чтобы больше не ходили!

Совершено *преступление* ! За преступлением должно последовать наказание. Преступников надо судить, открытым судом, на всю страну, по телевидению, чтобы другим не повадно было!

Но кого судить? Строителей? Но строители

лишь простые исполнители. Смердяков лишь простой исполнитель, а главный виновник убийства Федора Павловича Карамазова - Иван Карамазов, ибо, если Бога нет, как он внушал, то все позволено. Значит, надо судить тех, кто подал эту идею заделать лестницу Достоевского. А вдруг они на суде скажут, что прочли статью О. Чайковской "Из двух источников" и решили, что из источника под названием "Достоевский" пить вредно. Тогда кого судить?

Я узнал также, что совсем недавно сокращены часы в школе на изучение Достоевского. Кто это сделал? Неужели до сих пор неясно, что за отчуждение Достоевского в недалеком прошлом мы сейчас расплачиваемся сполна. Ведь наше поголовное пьянство, с которым началась сейчас такая решительная борьба, идет и от бездуховности тоже, в том числе и от того, что много лет нас отлучали от Достоевского. Недаром же сам писатель считал, что самое страшное это даже не пьянство, а словоблудие.

Ну, а если ответственные товарищи из Министерства просвещения, сократившие часы на изучение в школе Достоевского, скажут, что они прочли статью О. Чайковской и решили, что вредно пить из источника под названием "Достоевский", а лучше пить из другого источника под названием "Тургенев".

А не лучше ли раз и навсегда пить из *одного* источника. Этот источник называется *великая русская литература*. Великая русская литература всегда учила, что "гений и злодейство - две вещи несовместные".

## **Современная западная историография: попытка обобщения**

### **1. Положение в гуманитарных науках сегодня**

Рискуем повторить общеизвестное - мы живем в век информации. Это выражается не только в популяризации всех областей культуры (и псевдокультуры) при помощи все увеличивающегося числа газет, периодики и телевизионных программ, но также и в непрерывно и стремительно растущем количестве научных исследований. Но если беспрецедентный рост умственной деятельности в сфере точных наук может объясняться постоянно увеличивающимся спросом на материальные блага и конкуренцией, непрекращающийся поток исследований в области гуманитарной можно, вероятно, объяснить двумя факторами. Прежде всего, обладая абсолютной свободой информации в западном обществе (в этой статье не рассматривается состояние историографии в условиях несвободы тоталитарных государств), исследователи-гуманитарии в последнее десятилетие получили в свое распоряжение небывалые технические сред-

ства, чрезвычайно упрощающие работу ученого. Компьютеры, заменившие пишущие машинки, новейшие библиотечные каталоги и индексы, копировальные устройства и прочие приспособления в большой мере являются причиной появления колоссального числа научных работ в гуманитарной области.

Однако технический прогресс – не единственная и даже не главная причина такого резкого количественного скачка в гуманитарных науках. Более существенно – изменение общественного отношения к образованию вообще. Вплоть до самого последнего времени высшее образование, а тем более аспирантура, были уделом избранных. Сегодня же многочисленные университеты выдают ежегодно тысячи докторских дипломов, не говоря уже о степени магистра, которая каждый учебный год присваивается десяткам тысяч. Постепенно создалась ситуация, когда не иметь ученую степень в некоторых кругах считается чуть ли не неприличным; и к ней стремятся не только люди с призванием и незаурядными дарованиями, но и все те, кто, не имея способностей в области технических наук, попросту хотят приобрести право на "культурную" профессию, пусть даже и малооплачиваемую, как это часто случается в гуманитарных дисциплинах. Не приходится поэтому удивляться, когда многие студенты последнего и предпоследнего курсов университета заявляют, что собираются в аспирантуру, но при этом не представляют, чем именно хотят заниматься.

Надо сказать, что идея об избранности касты хранителей знаний особенно четко была сформулирована "философами" эпохи просвеще-

ния, когда слово "наука" окончательно подменило понятие культуры, а информированность всех и каждого предлагалась как панацея от всех человеческих бед. Роль просветителей поэтому представлялась почетной миссией для создания рационального рая на земле взамен несовершенного мира, который образованное меньшинство вызвалось вырвать из тьмы средневекового невежества и научить "как надо". В таком виде эта идея о всеобщей нужде образования была донесена до наших дней, когда образованность в интеллектуальных кругах стала считаться абсолютным благом для всех, независимо от склонностей и жизненных целей каждого.

Из-за распространенного мнения о том, что высшее образование должно быть не только доступно, но чуть ли не навязано, наблюдается сегодня несомненное снижение уровня знаний. Ведь и последний тупица "имеет право"; вот его и не "дискриминируют", а ставят проходную отметку лишь за прилежание, а не за реальные успехи. Такая ситуация особенно наглядна в Соединенных Штатах, начиная, буквально, с начальных классов школы и кончая аспирантурой, откуда, соответственно, и выходит множество второстепенных специалистов, особенно в "субъективных" гуманитарных науках, где не существует видимых твердых критериев<sup>1</sup>.

Итак, академический гуманитарный рынок переполнен до такой степени, что, как жалуются часто аспиранты, для новых диссертаций и монографий не хватает тем. Действительно, на первый взгляд, на большинство больших тем научные труды уже написаны, что особенно

очевидно в области биографии. Почти любая мало-мальски заметная фигура мировой истории и культуры подверглась тщательному разбору, так что теперь биографами избираются для детального изучения совсем уж второстепенные личности, о которых если и писать, то в короткой статье, а не в отдельной монографии в сотни страниц. Так, например, пишется объемистая биография Веры Засулич, в ранней юности совершившей террористический акт и с тех пор жившей воспоминаниями и былою славой, не имея сил и, видимо, дарований найти себе лучшего применения.

Можно, конечно, избрать иной путь и, как это делают многие современные специалисты, рассматривать любой уже изученный вопрос "под другим углом". При наличии колоссального числа исследований новая книга никого не заинтересует, если она не меняет радикально традиционную точку зрения на изучаемый предмет. Предложение научных монографий настолько явно превышает спрос, что пресыщенного читателя можно заинтриговать разве что чем-то сенсационным. Зная это, большинство научных руководителей не посоветуют, а нередко прямо запретят своему аспиранту заниматься, скажем, разбором "Братьев Карамазовых", так как это "уже было".

Но не всякую тему можно пересмотреть, и отчаявшиеся в поисках новых сюжетов ученые углубляются все дальше в область абсурда, пытаясь изучать такие новые и нераскрытые проблемы, как "Запахи Парижа во время Парижской коммуны", "Альпинизм в Англии XIX века", "История Дракулы", "Туз в пушкинской

«Пиковой даме»», "Английская тюремная архитектура в 1750–1840 годах" и т. п.<sup>2</sup>

В результате гуманитарные науки сегодня переживают кризис. Среди ученых чувствуется неудовлетворенность, а среди лучших из них – стремление найти ключ к чему-то "настоящему". Сделав такие обобщения, мы остановимся в дальнейшем лишь на проблемах современной исторической науки, оговорив, что все ниже следующее может относиться в равной мере к гуманитарным наукам вообще, а не только к отдельным ее отраслям.

## 2. История

В исторической науке сегодня особенно ярко ощущается широко распространенная среди ученых профессиональная неудовлетворенность, если не сказать смятение. Как признавал еще в 1966 году немецкий историк и философ Витрам, "многогласный хор уверяет нас в том, что историческая наука стоит перед банкротством..."<sup>3</sup>. Это "...распространение идей агностицизма и пессимизма, отчаяния и неверия... в возможности и способности своей науки"<sup>4</sup> сказывается прежде всего на двух аспектах исторического ремесла: проблематике и методологии.

Как же историки выбирают тему для исследования? Традиционно, в христианской культуре, история писалась по более или менее твердым канонам, установленным в первом историческом произведении – Библии. Вплоть до середины XIX века историки затрагивали в своих трудах лишь "большие" темы: войны (уделяя

особенное внимание ключевым битвам), стихийные бедствия типа неурожая, засухи и наводнения, а также события, касающиеся непосредственно правителей данной страны или народа. Сам же народ, как масса, так и отдельные группы, мало занимал традиционных историков. Да оно и понятно. Во времена, когда голосование и общественное мнение не играло сегодняшней роли, большинство вопросов, выходящих за рамки повседневной жизни людей, решали "вожди и герои", деяниями которых и были заняты историки и летописцы.

Однако уже и в XVIII веке начали раздаваться голоса протеста. Так, Вольтер писал: "Можно подумать, что в течение четырнадцати столетий в Галлии были только короли, министры да генералы"<sup>5</sup>. Затем, начиная примерно со второй половины прошлого столетия, историки, несомненно под влиянием все нарастающей популярности марксистского учения, довольно резко отошли от традиционной или, как стали ее называть, "политической" истории. Не отдельные личности и не ключевые моменты прошлого теперь вдохновляли исследователей, но массы, "научно" разделенные на классы, и их экономические отношения как определяющий фактор в политике. И нужно здесь отметить, что основным аспектом марксистской историографии (имеющей и по сей день относительно широкий круг приверженцев, пусть не столь догматичных, как прежде), стал материализм, на базе которого и зиждится теоретическое обоснование любой исторической модели. Если и прежде встречались историки-материалисты, то с появлением якобы всеобъемлющего марксистского учения материализм стал исходной

точкой мировоззрения целой школы, отрицающей духовность в принципе и, следовательно, – как фактор, имеющий какое-либо значение для исторического процесса.

Итак, вплоть до приблизительно 1930-х годов историография как бы разделилась на два лагеря: традиционный и народническо-марксистский. Представители последнего обвиняли своих оппонентов в игнорировании основного "субъекта" истории – самих людей, народ, а также экономики как определяющего начала социально-политических отношений и даже отчасти развития науки и культуры. "Политические" же историки в свою очередь обличали узость марксистов и неомарксистов, сводящих внутреннюю жизнь каждого человека в отдельности и весь комплекс человеческих отношений к экономике и классовой борьбе.

И многие историки-неомарксисты (не будучи из числа упрямых ортодоксов, коих оставалось сравнительно немного) вынуждены были признать свою, по крайней мере частичную, неправоту. Однако и вернуться к традиционной историографии разочаровавшиеся марксисты не считали для себя возможным<sup>6</sup>. А следовательно, чтобы избавиться, наконец, от постоянной неудовлетворенности собой и своим предметом, им оставалось искать новых путей в выборе тем и их изучении.

И исследователи нашли этот новый путь в том, что несколько позднее обрело название "социальная история". Уже такие историки, как Марк Блок, Жорж Лефевр и некоторые другие, сгруппировавшиеся в конце двадцатых и в тридцатых годах вокруг французского журнала "Анналы", хоть и не отказались от многих

атрибутов марксистской историографии (например, повсеместное игнорирование роли личности, политики и дипломатии), все же пытались преодолеть ее узость и схематичность, выдаваемую за научность. Чувствуя необходимость проникнуть в глубину прошлого и осветить его во всей его сложности и многогранной полноте, эти историки отошли от строгого и навязчивого деления общества на классы, заостряя свое внимание теперь на различных социальных группах. Так они принялись изучать крестьянство и городскую бедноту, ремесленников и купцов, женщин и духовенство (как замкнутые социальные объединения), а также, например, влияние колоний иностранцев на жизнь города, значение семьи и другие подобные темы. Но в то время как Блок и Лефевр пытались изучать общество, анализируя составные части его, многие их последователи, ввиду трудности глубокого исследования совокупности многих аспектов истории, постепенно укоренились в мысли, что для полного и научного проникновения в тайны прошлого стоит лишь сузить интересующий историка вопрос. При этом чаще всего имелось в виду углубление почти исключительно в социально-экономические отношения, т. е. в то, что считалось единственно достойным изучения — в материальную сторону жизни<sup>7</sup>. И новые поколения историков, работающие уже после Второй мировой войны, настолько увлеклись раздроблением и детальным изучением отдельных и чрезвычайно узких тем, что исследуют их теперь уже в абсолютном отрыве от общего контекста, забывая справедливые слова того же Блока о том, что "знание фрагментов, изучае-

мых по отдельности один за другим, никогда не приведет к познанию целого – оно даже не позволит действительно познать самые эти фрагменты”<sup>8</sup>.

Но чем уже становятся темы, тем менее чувствуют историки удовлетворение от своего труда. Это и не удивительно: ведь детальное исследование разрозненных мелких проблем, а затем и отдельных аспектов этих мелких проблем, постепенно превращается в самоцель и все дальше удаляет исследователя от ощущения и понимания преемственности событий и их связи с окружающим миром, в итоге лишая сам изучаемый вопрос всякого исторического смысла. Отсюда – все растущая потерянная современными специалистами и сознание невозможности для них выйти из тупика. Не находя выхода, историки в своих метаниях доходят порой до абсурда, надеясь приблизиться к более полному пониманию прошлого путем исследования тем типа “Убийства и самоубийства среди собак в Европе XIX века” или, уже увидевшей свет “Истории сумасшествия, написанной сумасшедшими”<sup>9</sup>. Несомненно, лучшие представители исторической науки сегодня вполне осознают всю тяжесть, если не сказать трагедийность, сложившейся ситуации. При этом, однако, лишь единицы задумываются об истинных причинах создавшегося положения, тогда как большинство лишь вносит различные предложения методологического характера.

Методология, между тем, является вторым пунктом, наглядно демонстрирующим удручающее состояние современной историографии.

До начала XX века исторические произведения были большей частью описательными, то

есть написанными в стиле повествования, будь то средневековые летописи или труды историков XIX века. Другой важный методологический аспект традиционной историографии – относительно небольшое количество источников, в основном за счет того, что историки использовали исключительно письменные свидетельства, практически не пуская в ход данные из области устной истории (интервью), археологии, этнографии или статистики.

Постепенно, одновременно с тем, как темы исторического исследования становились все уже, простое описание (или так называемое линейное повествование) уступало место более детальным аналитическим трудам, сжатым по форме. Одновременно расширялось количество источников, и на помощь историкам привлекались такие смежные дисциплины, как экономика, социология, а в последние годы даже компьютерные методы анализа. Так, например, известный французский историк А. Собуль резко порвал с традиционным описательным стилем в угоду "измерений", считая, что "любую человеческую деятельность можно анализировать и количественно"<sup>10</sup>.

Современные исследователи, таким образом, все время ищут новые технические средства, с помощью которых им стало бы ясно то, что они смутно чувствуют, но до чего не могут докопаться: до тайны, которая откроет им "настоящую" и "полную" историю. На практике же все, что удается большинству историков, – это исследовать в мельчайших деталях разрозненные факты и события, не восстанавливающие живую ткань прошлого, с множеством переплетенных и спутанных между собой нитей,

порою едва ощутимых, но от этого не менее нужных в общем неповторимом узоре.

Чтобы лучше разъяснить все вышеизложенное, приведем несколько примеров из многих сотен монографий по русской истории, написанных на Западе. Несмотря на то, что в силу политических обстоятельств современная русская история остается в огромной степени неизученной, молодой американский специалист посвящает многолетний труд крестьянам-мигрантам, по разным причинам перемещавшимся из уезда в уезд центральной России в середине XIX века. Из-за подробнейшего разбора преимущественно социально-экономических причин миграции у исследователя (кстати, горожанина, плохо представляющего жизнь деревни, да еще чужой страны и более века назад) почти не остается места ни событиям, происходящим вне рассматриваемых уездов, ни тем более "нематериальным" аспектам крестьянского быта. Занимаясь анализом отдельной узкой темы, автор, вероятно, надеется, что вместе с коллегами, подобно ему изучающими различные мелкие вопросы, связанные с крестьянством, исследователи неким коллективным трудом создадут полную историю. Но пытаясь "заменить многообразную эрудицию одного человека совокупностью технических приемов, применяемый разными учеными", исследователь забывает, что "изолировавшись, каждый из специалистов сможет что-либо постичь лишь наполовину, даже в собственной области"<sup>11</sup>.

Подобных примеров можно привести множество, особенно затрагивая столь же теперь модную, что и крестьянство, тему, как рабочий класс в дореволюционной России.

Учитывая, что к началу XX века лишь два с половиной процента всего российского населения составляли рабочие, автором исследования о рабочем классе Москвы в конце XIX столетия избирается достаточно узкая тема, которую он еще более "углубляет", останавливаясь почти исключительно на социально-экономических аспектах этой совсем уже небольшой социальной группы<sup>12</sup>. Такой подход к теме характерен для большинства исследований о пролетариате, занятых детальным разбором профсоюзной деятельности на заводах, участием рабочих в политической борьбе, социальным составом и особенно условиями их труда, так как именно последнее, по мнению многих современных специалистов (и вполне в соответствии с марксистским представлением), в большой степени определяло сознание пролетариата<sup>13</sup>.

И последний пример: одна из наиболее известных и признанных сегодня монографий — книга историка Теодора Шанина, которая может считаться особенно ярким представителем школы социальной истории<sup>14</sup>. Сама тематика этой монографии, где исследуемая социальная группа — крестьянство — изучается в полном отрыве от политического контекста, должна быть признана неудовлетворительной и для времени постепенного развития, и уж совсем недопустимой для периода Первой мировой войны, революции и гражданской войны в России. То же можно сказать и о методологических приемах автора: чисто социологический анализ, оперирование абстракциями, использование графиков и таблиц — вот основные атрибуты методологии Шанина, который, несмотря на все ухищрения, так и не сумел приоткрыть читателю, какими

же были русские крестьяне, чем жили, как ладили между собой, во что верили и как вписывались в ту во многом потерянную в 1917 году (несмотря на явные старания автора затемнить это) жизнь России и русскую культуру.

Не менее показательно и то, что схематично, без любви и даже сочувствия написанная книга, хоть и хорошо технически выполненная, вызвала широкий интерес в академических кругах и целый ряд восторженных рецензий современных специалистов. Однако, читая эту книгу и подобные ей труды, невольно приходишь к заключению, что эти хитроумные попытки обобщения, создание сложной модели, использование якобы научных построений, есть лишь способ скрыть внутреннюю пустоту исторической работы, а восторженная реакция читателя, так в общем и не понявшего ничего о самом крестьянстве во всей этой премудрости, есть лишь результат, с одной стороны, нежелания показаться простаком, а с другой, — убеждения, что раз автор так все запутанно, серьезно и уверенно анализирует, значит за этим что-то есть.

Очевидно, что чем больше пишется и публикуется подобных работ, тем труднее становится разобраться в связях между событиями, их истоках и следствиях как самим историкам, так, особенно, их несчастным ученикам, которые только и читают несвязанные между собой обрывки и штрихи истории, имея лишь смутное представление об общей картине. Создалась постепенно ситуация, когда само понятие истории стало подменяться детальным изучением и анализом отдельных исторических вопросов.

И наиболее чуткие из современных историков смутно ощущают, что они проходят мимо чего-то более важного, не замечая его. Нам же здесь хочется высказать почти невысказанное сегодня предположение, что описывая исторические события и их участников исключительно с материальной точки зрения, мы упускаем сам Дух Истории.

### 3. "Вертикаль" и "горизонталь"

Итак, создается впечатление, что корни справедливой неудовлетворенности, которую испытывают сами исследователи, кроются в том, что специалисты подразумевают под историей лишь связи между людьми на уровне личном, общественном или же государственном<sup>15</sup>. И эти отношения между людьми, социальными группами и целыми державами, отношения, которые можно условно назвать "плоскостными" или "горизонтальными", и являются исключительным объектом внимания современного специалиста. Как давно перестали ощущать историки необходимость попытки увидеть преломление исторических событий "по вертикали", стремления вырваться из их хаоса и дотянуться разумом и душой до высшего смысла явлений прошлого, желания отыскать в лабиринте истории их место и значение в незыблемом Замысле. Как давно перестали историки чувствовать, что человек и в вихре своих страстей и в редкие часы покоя является частью высшего миропорядка, который нельзя объяснить лишь на уровне отношений между людьми, отменяя или игнорируя непрерывную и независимую от нас

связь между всеми и каждым и Источником нашей истории. Иными словами: отношениями между человеком (людьми) во времени и Богом, или отношениями "вертикальными", историк не занимается.

И в этом его беда. Как бы ни старались исследователи, какие бы неожиданные темы ни затрагивали и какие бы сверхновые методы ни применяли, без попытки оторваться от исторической горизонтали все их труды вечно будут обречены на поверхностность, отрывочность и, главное, на искажение описываемого: ведь межчеловеческие отношения не могут быть отделены от Бога, который Вездесущ в Своей единой истории. Описание современными историками исключительно горизонтальных отношений более всего напоминает рисунок ребенка, где все изображено плоским и лишь схематично изображает реальный мир. И пишется сегодня именно такая детская история.

Вот почему, воспринимая лишь плоскостную, а не вертикальную или, правильнее сказать, объемную историю, современные историки (атеисты, агностики или даже верующие, не оставляющие религию для воскресного похода в церковь, не впуская ее в сферу своей профессиональной деятельности) никак не могут достичь глубины исследования, удовлетворяющей их и читателей. Более того, большинство специалистов уверено, что бесполезно задаваться вопросом, как же все было в действительности, так как каждый видит и волен оценивать прошлое, как, впрочем, и настоящее, по-своему. И поскольку "все исторические суждения включают в себя личную точку зрения и самую личность исследователя, то одно суждение столь

же хорошо, как и другое, и никакой объективно исторической правды вообще не существует”<sup>16</sup>. На известный орвелловский вопрос: ”Вы и в самом деле верите, что прошлое реально существует? ...Существует ли прошлое конкретно, в пространстве? Существует ли такое место во вселенной... где прошлое совершается?”<sup>17</sup> – большинство современных историков ответило бы отрицательно, полагая, что история существует лишь в документах и в человеческой памяти. А если нет истины и объективной истории, то незачем и стремиться к единственно верному пониманию прошлого и тогда вполне оправдан исторический плюрализм.

К тому же современные специалисты (даже те, кто не считают себя атеистами) привыкли думать или, вернее, считать априори, что попытки понять Богочеловеческую или объемную историю всегда субъективны и неразрывно связаны с личностью исследователя, так как невозможно до конца понять, а тем более четко определить Главного Героя исторической пьесы. Они поэтому вообще отказываются становиться на эту зыбкую почву, отговариваясь тем, что историк не может идти по пути, заранее обреченному на необъективность.

Нам же видится здесь противоречие: с одной стороны, как было показано выше, историки не признают существования единой Истины, объективного прошлого и более или менее ”правильного” понимания истории (по мере приближения к тому, как она ”видится” Свыше), к которым каждый из них обязан стремиться. С другой же стороны, они исходят из убеждения, что любые попытки отыскать ключ к истории вертикальной ведут к потере

объективности (которая, якобы, не существует?) и к сугубо индивидуальному восприятию событий, которое должно считаться вполне правомерным при их субъективистском мировоззрении.

Выходит, что хотя в плюралистической историографии сегодня каждому исследователю и оставлено право думать и освещать события, как он их видит, хотя его и не могут упрекнуть в том, что он пишет неправильно (если, конечно, автор не искажает источники), все же эти привилегии даны историкам исключительно в рамках горизонтального описания. А отход от общепринятого в нашей атеистической культуре "объективного" убеждения в том, что история существует лишь в плоскостном измерении, в академической среде считается ересью.

Итак, искусственно ограничивая свое видение и ощущение истории одной плоскостью, современные специалисты пожинают плоды. Прежде всего это неотступное ощущение потерянности и ущербности собственного восприятия, которое не оставляет самого хоть чуть-чуть задумывающегося о своем ремесле историка на всем его творческом пути. Не менее страдают от бездуховности и его труды. Инстинктивно чувствуя и боясь, что ему не под силу охватить сколь-либо большую и важную тему или ключевое историческое событие, так как порой именно в них, а не в рутине повседневности наиболее ощутима связь человеческого с небесным, а, следовательно, особенно очевидно убожество и обворованность чисто горизонтальной истории, современный историк скатывается до узости, мелочности, до разрознен-

ных деталей и фактов, до тех, которые в отрыве от контекста и историей-то назвать нельзя.

Не менее губительно для исторического труда и то, что описываемые события, которые не служат для историка источником познания Божьего мира, в действительности безразличны ему; в поисках правды исследователь сегодня не является по-настоящему лично заинтересованным, ведь его открытия не прибавляют ему самому духовного богатства и в лучшем случае являются его интеллектуальным багажом. Отчасти и из-за этого ученые берутся за мало интересующие их темы, часто лишь потому, что данный сюжет способен заинтриговать публику и, соответственно, "хорошо продастся"<sup>18</sup>.

Наконец, едва ли может остаться незамеченным и еще один поистине вопиющий провал современного исследования – его бесцветность, сухость и тусклая безжизненность. Как будто нарочно вся красочность и сочность жизни выжимается историком из его произведения, где уже нет места красоте, поскольку нет места для Бога, нет даже намек на стремление к Нему. Ведь отсутствует то, что является неотделимым элементом истинного творчества: желание историка через свой труд прославить Творца и (подобно рабу из библейской притчи о таланте) с благодарностью открыть столь щедро дарованный Им дар видения и описания.

Это не означает, что в трудах современных историков не может иметь место стройность композиции, логика повествования и даже некоторая красота анализа. Однако эта красота – техническая. Историк, как, скажем, живописец, может замечательно владеть техникой

своего ремесла, но для того, чтобы стать мастером, историку или художнику нужно иметь в себе и нечто большее. Художественная форма или же форма исторического исследования бывает чрезвычайно удачной и даже красивой, но, вопреки распространенному сегодня убеждению, она не может быть целью искусства или науки, а лишь средством для стремления ввысь и достижения истины. И "нет худшего расточительства, чем растрачиваемая впустую эрудиция, нет более неуместной гордыни, чем самодовольство орудия, считающего себя целью"<sup>19</sup>.

Итак, мелочность, плоскость, безразличие или лишь поверхностный интерес – любопытство, вместо полета, вместо неудержимого желания познать истину; сухость и пресность или, в лучшем случае, технический успех вместо всплеска красоты, радости светлого творчества и мастерства в описании былого – вот тенденции в историографии сегодня. Возразят, что не может быть написана история любой страны или народа без копания в деталях, изучения мелких подтем. Это так, но для большой истории (а история может быть только большой), нужно что-то еще, а именно: неустанные попытки историка связать мельчайшие детали с общим Планом, понять который – его главная, пусть в огромной мере не разрешимая, задача. И приблизиться к ее решению можно лишь через постоянный поиск связи с Богом и через Его благодать.

К слову сказать, именно так работали многие историки и летописцы средневековья, во времена, когда верою и духовностью были наполнены не только творчество, но и повседневная жизнь и когда (по крайней мере "в

теории") единственная цель ученого была - прославить Творца, поведав миру связь между делами человеческими - грехами, радостями, скорбями и страстями - и Божьей волей и Планом для мира и человека. Подобные утверждения неминуемо вызывают возражение: о какой духовности может идти речь, когда доподлинно известно, как сильно средневековые писатели зависели от своих покровителей, будь то властелин феодального государства или же церковный иерарх. И о каком свободном творчестве можно говорить, если таланты попросту покупались для прославления сильных мира сего, а также для поддержки их в междоусобной борьбе. Несомненно, случалось и такое, и даже, вероятно, писание "на заказ" было частым явлением. Но ведь и сегодня многие специалисты пишут исключительно из-за денег или из-за карьеры. А разница в том, что в Средние века люди знали, что, продаваясь и не возвращая Богу Божьего, они грешат против истинного творчества и духовности, которыми была пропитана вся их культура. Сегодня же, "продавая" свои труды, ученые в собственных глазах и в глазах окружающих чисты: их мир не желает знать Бога и сконцентрирован на человеке. И, следовательно, нет ничего предосудительного в том, что историк работает на себя - для своей карьеры, славы или личной любознательности.

Дошедшие до нас средневековые памятники полны светом, красотой и силой убеждения: описывая прошлое созданного Богом мира, художник благодарил Его за любую радость, человеку дарованную (добротою и мудрого правителя, удачную битву, богатый урожай) и

винил себя – грехи человеческие, а не социальную несправедливость, эксплуататоров или негодное правительство – во всех своих бедах. Нам сегодня поэтому просто глупо выставлять напоказ свое якобы бесспорное профессиональное превосходство над средневековым историком за то только, что кстати и некстати вставляли они в своих трудах фразу "волею Божьей", и не достигли еще нашего технического уровня исследования в смысле привлечения всех возможных (и невозможных) исторических свидетельств, дабы докопаться до мельчайших деталей и подробностей.

Более того, если мы признаем, что настоящий историк – мастер, а не подмастерье – должен стремиться охватить объемную, а не только плоскостную историю, мы вынуждены будем с горечью убедиться и в том, что сегодня почти не осталось историков<sup>20</sup>. Есть знающие, широко эрудированные специалисты, детально изучившие свой предмет, а иногда, хоть и не так уж часто, и смежные дисциплины (языки, литературу и т. д.), но почти не встречаются теперь историки-священники, служащие не собственной карьере, престижу или абстрактному научному интересу с девизом: "ах, как занятно!", а познанию непознаваемого – места человека на неисповедимых путях Господних в нашем мире.

\* \* \*

Крайне затруднительно указать сегодня на какого-либо историка, подошедшего бы под такое определение, кроме, вероятно, одного –

А. И. Солженицына как автора "повествования в отмеренных сроках" "Красного колеса". Детальный анализ этого уникального в мировой истории литературы произведения не может быть вменен в узкие рамки данной статьи. Можно здесь высказать лишь некоторые суждения о Солженицыне как о мастере-историке, вероятно, не совсем справедливо отделяя эту его роль от писателя-романиста.

Хочется прежде всего сказать о выборе тем или о проблематике. Солженицын пишет историю русской революции и, справедливо считая, что события семнадцатого года останутся непонятыми, не отступи он к началу Первой мировой войны, к революции пятого года, к началу века, как историк отходит в своем повествовании порой чуть не на полстолетия. При этом сознавая необходимость не только масштабного, но и возможно более плотного описания нашего оболганного прошлого, Солженицын, вынужденный ограничить объем неохватного исторического материала, находит выход: "Узлы". Узел - это сгусток истории, бурный ее всплеск или напряженное и таинственное затишье перед бурей. В Узле история как бы сжата, спрессована, сконцентрирована в едином ярком миге, и именно такие ключевые моменты, по мнению Солженицына, и заслуживают глубочайшего и детального исследования. Ибо именно в этих ярких вспышках, освещающих события предшествующие и последующие, более всего и ощутим высший замысел и непрерывная связь всех дел людских с путями божественными. Неудивительно поэтому, что Солженицын особенно заостряет свое внимание и внимание читателей на этих исторических моментах.

При этом поражает глубина исследования — с до мельчайших деталей проработанными историческими характеристиками. Это относится не только к главным героям революционных событий в России, но и к второстепенным, не играющим, казалось бы, серьезной роли, к таким как друг Гучкова князь Дмитрий Вяземский или бригадный священник отец Северьян. Здесь как раз и видно замечательное свойство мастерства Солженицына-историка. Описывая важнейшие и подчас неохватные по масштабу и значимости события из жизни предреволюционной России (убийство террористом лучшего государственного деятеля России П. А. Столыпина, самсоновскую катастрофу, отречение императора), Солженицын отнюдь не схематичен и не поверхностен в своем анализе, где тщательно и даже скрупулезно отработаны детали, ненавязчиво подкрепляющие и освещающие основные выводы автора.

Такова, кстати, небольшая глава об отце Северьяне, которая, по существу, вылилась в описание положения православия и церковной жизни в России накануне революции. Наряду с перечислением университетских преподавателей будущего священника, с детальным описанием рязанского храма Спаса на Юру и его окрестностей, Солженицын отрывается от плоскостного повествования и устремляется мыслью и душой в проникновенную глубину личного исторического восприятия:

”Русь не просто приняла христианство — она полюбила его сердцем, она расположилась к нему душой, она излегла к нему всем лучшим своим. Она приняла его себе в названья жителей, в пословицы и приметы, в строй

мышления, в обязательный угол избы, его символ взяла себе во всеобщую охрану, его поименными святцами заменила всякий другой счетный календарь, весь план своей трудовой жизни, его храмам отдала лучшие места своих окружий, его службам – свои предрассветья, его постам – свою выдержку, его праздникам – свой досуг, его странникам – свой кров и хлебушек”<sup>21</sup>.

Не пренебрегая деталями, не смазывая мелочи за счет общей концепции, как глубоко осознал Солженицын истинные задачи историка и обогатил свой труд этим стремлением ввысь.

То же можно сказать и о технической стороне повествования – о методологии. Прежде всего, не перестает удивлять не столько количество переработанных Солженицыным источников (хотя и это поразительно для каждого, знакомого с объемом литературы по дореволюционному периоду), сколько умение использовать их в необычном по жанру ”бесносочном” произведении. Сам Солженицын пишет в своих замечаниях ко второму ”Узлу”:

”...Передавая подлинные стенограммы, заседания, речи, письма, я не решался обременить свою книгу и читателя тем многословием, даже пустословием, повторами, побочностями, рыхлостями, невыразительностями, которыми многие из тех речей изобилуют. Поэтому я разрешил себе выиграть действенность через сжатие всего текста, иногда и отдельных фраз, – без малейшего, однако, искажения их смысла. Все цитаты истинны, но не все дословны, концентрация действительности есть требование искусства”<sup>22</sup>.

Солженицын действительно изучает самые

разные материалы – от списков личного и конного состава гренадерской бригады до воспоминаний знаменитых общественных и культурных деятелей, к чьим мемуарам, как и подобает историку, он относится, с одной стороны, чрезвычайно критически, а с другой, – пытается проникнуть в смысл того, чего авторы, сознательно или нет, решили не касаться.

Сопоставляя или осмысливая многочисленные исторические свидетельства, Солженицын не замыкается на разрозненных фактах и сравнительно мелких событиях; они интересуют его не только как "вещь в себе", – хоть и это в нашей поросшей сорняками истории уже много, – но и как средство к познанию высшей правды и ее преломлению в прошлом. И поэтому, например, благодаря, а не вопреки тщательно изученным и часто дословно цитируемым стенограммам думских заседаний становится понятно завершение Солженицыным одной из глав повествования выводами веховца Варсонофьева:

"Нетерпеливая тщета: хотели поворачивать ход такого корабля, не доникнув до его сущности. А ход – непостижим нашим умам, и мы имеем право только на малые, на малые тяги. Без рывков... Жизнь общества не сводится к политике и не исчерпывается государственным строем. Время, в которое мы живем, имеет бездонную глубину. Современность – только пленка на времени"<sup>23</sup>.

На протяжении всей своей многотомной эпопеи Солженицын пытается не только восстановить искаженную фактологию, но и ощутить силы, стоящие за пределами возможностей как одного человека, так и множества людей. В

этом смысле чрезвычайно интересна обширная глава – самостоятельное историческое исследование – о Столыпине, где так ярко освещена критическая роль личности в истории<sup>24</sup>. И создается впечатление, что для Солженицына не существует понятия случайности: гибель от руки мелкого беса, одиночки-террориста, лучшего российского министра, только что выведшего страну из смуты и направившего ее на путь “мирного обновления” – не просто невезение или даже глубокая неудача и поражение для России. Это рок. А следующим роковым событием, началом конца, была развязка катастрофической мировой войны, после которой Россия, да и вся Европа, уже не смогли остаться прежними. Рок, недоступный до конца человеческому разуму, видит Солженицын и в других событиях, устами своего героя говоря о начале революции: “Все удивлялись, как сразу, без мрака, разразилось всеобщее ликование. И не видели, что ликование – только одежда великого Горя, и так и приличествует ему входить. Все удивлялись, что для колоссального переворота никому не пришлось приложить совсем никаких сил. Да, земных”<sup>25</sup>.

Вот почему в поисках высшего смысла истории и прорывается торжественная красота – не только “техническая” (хотя есть она и в анализе источников, порой поразительном по своей глубине и оригинальности), но и красота самой исторической ткани повествования, сотканного из множества отдельных волокон трудолюбивым историком. И восстанавливая по крупицам невозвратно утерянную уже и оболганную жизнь дореволюционной России, Солженицын, имеющий поистине поразительный

дар видеть и чувствовать прошлое, вместе с тем открывает читателю, как сквозь извечную суету и пошлость проглядывают осколки разбитого, но когда-то прекрасного творения, все глубже втаптываемые нами в грязь. Вот почему эти всплески красоты и высокого чувства среди все надвигающейся тьмы так ярки у Солженицына.

Поражает также и то, что, в отличие от огромного большинства современных исследователей, Солженицын не скрывает глубокую личную заинтересованность в своем историческом труде, который от этого не становится менее выдержан и менее "объективен", чем любые изыскания любопытствующего специалиста. Для Солженицына русская история не просто занята: такой подход к научному вопросу ему всегда претил<sup>26</sup>. Через распутывание своих Узлов Солженицын прежде всего с благодарностью отдает личный долг (вспомним опять библейский талант). Но помимо этого, через очищение истории своей родины, он пытается восстановить память о своем прошлом, дабы понять и верно оценить свое личное (и наше общее) место и роль в сужденном нам настоящем.

Именно поэтому в отличие от большинства исторических трудов сегодня, читатель менее всего ощущает в повествовании Солженицына какую-либо потерянность или ущербность в восприятии самого автора, который не отвлекается и не утопает в мелких фактах и разрозненных деталях. Солженицын не мечется в растерянности и не чувствует, как лучшие историки сегодня, неполноценности и даже тщетности своих трудов. Как пишет он сам о Столыпине: "Главный узелок нашей жизни, все

будущее ядро ее и смысл, у людей целеустремленных завязывается в самые ранние годы, часто бессознательно, но всегда определенно и верно. А затем – не только наша воля, но как будто и обстоятельства сами собой стекаются так, что подпитывают и развивают это ядро”<sup>27</sup>. И буквально с детства ощутив свой путь, сам Солженицын всю жизнь не отступал от него.

Более того: родившись и до последних лет живя и работая в стране, где особенно систематически и планомерно выкорчевывалось из человека все то, что испокон веков наполняло каждого – вера, традиции, приобщенность к народной культуре, – Солженицын прежде всего духовно устоял сам и не позволил обокрасть себя подменой ценностей истинных – утопией, неверием или цинизмом. И всем своим творчеством он восстанавливает забитую и загнанную в щели настоящую культуру, не только русскую, но и мировую, из-под власти дьявольской лжи – коммунизма и неверия.

И последнее. Под влиянием немецких романтиков, по крайней мере со времени знаменитых чаадаевских писем, русские мыслители пытались определить роль России в мировой истории и ее вклад во всемирную культуру. Солженицына как исследователя русской революции, можно отнести к этой же традиции: веря, что в двадцатом веке послано было миру испытание – соблазн коммунизмом в любых его проявлениях, в том числе и коммунизмом духовным, для Солженицына Россия лишь первой должна пройти через эти “тесные врата”, явив тем самым урок и пример миру<sup>28</sup>. Как ярко опять видно здесь стремление мастера поднять-

ся над событиями горизонтальными и не дерзко и самоуверенно, но робко и осторожно прикоснуться к едва осязаемой тайне истории. Ведь, как пишет он сам: "Приоткрывает нам большая революция и такие глубины бытия, которые сомнительно назвать просто физическими"<sup>29</sup>.

О "повествовании в отмеренных сроках" Солженицына хочется сказать его же цитатой: "так идут к звездам"<sup>30</sup>.

\* \* \*

Но что же делать простым бедным историкам, не обладающим, несмотря на все их способности, даром Солженицына? Есть ли выход для них? Безусловно. Ведь жизнь человека, а, следовательно, его история, неотделимы от Бога, который и есть ее вечный Создатель, и историк в своем взгляде, обращенном в минувшее, напоминает иконописца. Но если иконописец пребывает в молитве, дабы прикоснуться и лучше передать Его Сущность, отчего же дерзкий историк, пытаясь проникнуть в тайны былого, где каждое мгновение освящено скрытым для большинства из нас духовным светом, не просит в этом помощи свыше и самонадеянно уповает на собственные лишь силы, целью же имеет прославить себя, а не пути Господни? И дело здесь не в таланте мастера: нельзя ожидать, что всякий будет одарен гением Рублева, но будь то иконописец или историк, он должен мыслью своей и душой стремиться ввысь — единственный путь увидеть в полную меру дарованных ему сил и способностей.

Этот путь может показаться невозможным,

ведь от историка требуется стать как бы метафизиком, вмешиваясь в запретную область неосязаемого. Однако, как можем мы разграничивать и отделять земную жизнь от метафизики и, в частности, "религию от профессии"<sup>31</sup>? Веруя в теории, что, помимо видимой горизонтальной истории, существует еще история другого измерения, не должен историк на практике, то есть в своей работе, отметить "вертикаль". Кроме того, тот факт, что историк у "трудно" стать отчасти метафизиком, вряд ли означает, что он не должен им быть. Несомненно, можно оставаться псевдоисториком и, идя по легчайшему пути, ограничиваться лишь описанием поверхностной и искаженной плоскостной истории. Но из этого вовсе не следует, что такова его истинная задача.

Все вышесказанное, несомненно, будет расценено историком-атеистом как "религиозная пропаганда", как возврат к якобы отжившим свое предрассудкам Средневековья, как попытка увлечь историю реальную в область субъективной фантастики. Более того, западного специалиста, столь боящегося всякого проявления универсализма в мышлении, должна привести в ужас одна мысль, что, приняв необходимость поисков связи между горизонтальной историей и вертикальным пониманием событий, историка можно будет заставить принять и единый ("религиозный") взгляд на прошлое.

Последнее, конечно, неверно, ведь именно в попытках проникновения в метафизику истории не может быть универсализма, поскольку духовная жизнь каждого глубоко интимна и неповторима. В трудах историков неминуемы

расхождения, так как истинное творчество уникально. Вопрос лишь в стремлении ввысь; без этого — плоскость и слепота, а само стремление может быть сугубо индивидуальным и независимым. За это, конечно же, говорит еще и то, что над историческими проблемами работают люди различных вероисповеданий. Это не должно вести к потере взаимной терпимости: просто единая объемная история может быть описана со многих сторон. Важно принять основное: атеистическая (или агностическая) историография недопустима, поскольку она умышленно искажает прошлое; внутри же объемного видения истории каждый волен стремиться к единой истине своим путем.

Все изложенные здесь положения могут быть приняты лишь теми, кто исходит из уверенности в существовании реальной и "объективной", пусть воспринимаемой всеми по-разному и зачастую вообще невидимой истории. Тем не менее, хочется спросить у историков-субъективистов: если есть по их мнению множество исторических концепций и каждая из них по-своему справедлива, почему же нельзя признать правомерность объемной истории? Ведь не признавая права на существование какого-либо взгляда, выходящего за пределы материализма и атеизма, последователи субъективной теории отходят от собственного же плюралистического принципа и становятся на позицию обладания единой истиной. Исходя из собственных убеждений, они, по крайней мере, должны были бы относиться к "религиозной истории" терпимее, хотя бы как к еще одному взгляду на прошлое. Однако, видимо, историки-плюралисты чувствуют, что, при-

знав право на существование концепции объемной истории, они должны были бы косвенно признать возможную справедливость монизма, поскольку идея вертикальной истории подразумевает единую истину. Таким образом, они обязаны были бы признать и вероятность своей исходной неправоты: их собственное плюралистическое мировоззрение требует от них как бы абсурда - заявления о возможной справедливости монизма, мировоззрения, которое несовместимо с их основным кредо. Понятно, что такой подход требует ломки устоявшихся убеждений.

Следует поэтому заключить, что для начала перерождения современной историографии нам необходимо прежде всего отказаться от плюралистической идеологии, с тем чтобы иметь возможность приблизиться к познанию тайн единой истины, воплощение которых в прошлом во всей своей многогранности и составляет основную и вечную загадку для историка.

## ПРИМЕЧАНИЯ

1. Этот упадок в американском образовании не остался незамеченным. Многие культурные и общественные деятели считали своей обязанностью обращать внимание на эту проблему. См., например, статью Джона Р. Сильбера, ректора Бостонского университета, много сделавшего для поднятия уровня образования в США.

2. Не все из этих исследований были опубликованы. Из вышедших в свет можно указать книгу Robin Evans. *The Fabrication of Virtue: English Prison Architecture 1750-1840*. Cambridge, 1982.

3. Цит. по Ю. Какк. Нужна ли новая историческая наука? - "Вопросы истории", № 3, 1969, с. 41.

4. Там же, с. 42.

5. Цит. по кн. М. Блок. Апология истории или ремесло историка. Москва, 1973, с. 96.

6. Марк Блок, например, писал: "Прежде рамками истории служили битвы, политика дворов, восшествия или падение великих династий. Под их знаменами выстраивались, как придется, искусство, литература, наука. Отныне следует все перевернуть" (там же, с. 97).

7. В последней своей книге уже сам Марк Блок не преминул отметить, что история это "наука, переживающая детство - как все науки, чьим предметом является человеческий дух, этот запоздалый гость в области рационального познания", и что ей необходимо теперь "отказаться от отравы, ныне особенно опасной, от рутинности учености и от эмпиризма в облики здравого смысла" (там же, с. 12).

8. Там же, с. 85. Многие современные историки точно так же убеждены в недопустимости сложившейся ситуации. Так, например, Гертруда Гиммельфарб упоминает в своей статье поистине трагикомичную ситуацию, когда исследователь американского городка во второй половине XVIII века в своем труде полностью игнорировал факт создания государства Соединенных Штатов Америки, как событие второстепенное, и изучал жизнь людей того времени исключительно по налоговым таблицам, церковным и гражданским регистрационным книгам, юридической документации, купчим на землю и записям рождений, браков и смертей. (См. статью Gertrude Himmelfarb. Denigrating the Rule of Reason. Harper's. Том 268, вып. 1607, апрель 1984, сс. 84-92).

9. Dale Peterson. A Mad People's History of Madness. University of Pittsburgh Press, 1983.

10. Цит. по статье Ю. Какх, с. 46.

11. М. Блок, указ. соч., с. 40, 29.

12. Robert Johnson. Peasant and Proletarian: the Working Class of Moscow in the Late Nineteenth Century. New Brunswick, 1979.

13. См., например, известную книгу Victoria E. Bonnell, Roots of Rebellion: Workers' Politics and Organization in St. Petersburg and Moscow, 1900-1914. University of California Press, 1983.

14. Theodor Shanin. The Awkward Class. Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia 1910-1925. Oxford, 1972.

15. Здесь мы не будем рассматривать абсурды из истории собак; на сегодняшний день большинство историков все же еще готово подписаться под определением исторической науки, предложенной Марком Блоком:

история это наука "о людях во времени" (Марк Блок, указ. соч., с. 19).

16. Цит. по статье Ю. Какк, с. 42.

17. Д. Орвелл. 1984. Рим, б/г, с. 247.

18. Безразличие к теме доходит иногда до абсурда: одна специалистка, работающая над диссертацией по психологии недавно приехавших в США эмигрантов из России, утешала себя тем, что в случае, если не сможет найти недорогого русского переводчика, необходимого ей, не знающей русского, для опроса, она займется вьетнамцами.

19. Марк Блок, указ. соч., с. 49.

20. Очень удачную оценку собственной роли предложил Марк Блок, назвав себя ремесленником и подмастерьем, который "долго орудовал аршином и отвесом, но из-за этого не возомнил себя математиком" (там же, с. 15).

21. А. Солженицын. Собрание сочинений, том 18. Красное колесо, с. 229.

22. Там же, том 14, с. 587.

23. Там же, с. 550-551.

24. Кстати, на Западе даже не марксисты находятся по сей день под столь сильным влиянием концепций о первозначимости масс, что часто не могут воспринять истинное значение этого государственного деятеля.

25. Там же, том 18, с. 578.

26. В "Раковом корпусе" А. Солженицын писал: "Это не аргумент - "интересно"... При таком объяснении наука не возвышается над длинным рядом эгоистических и совершенно безнравственных занятий... С такой установкой вы никогда не создадите ничего нравственного" (А. Солженицын. Собрание сочинений, том 4. Раковый корпус, с. 362).

27. Там же, том 12. Красное колесо, с. 167.

28. А. Солженицын. Интервью с Бернаром Пиво для французского телевидения. Вестник Русского Христианского Движения, кн. 142, 1984, с. 170.

29. А. Солженицын. Черты двух революций. Вестник Русского Христианского Движения, кн. 153, 1988, с. 170.

30. А. Солженицын. Полное собрание сочинений, т. 15. Красное колесо, с. 63.

31. Ведь если "Бог есть все во всем", то, как писал о. А. Шмеман, противоположение "религии, с одной стороны, жизни, с другой... делает невозможным ни преобразование жизни, ни осмысление религии" (За жизнь мира. Нью-Йорк, 1983, с. 13, 15).

Герман АНДРЕЕВ

## Феномен русской интеллигенции

### I

Того, кто в монолитной системе единомыслия имеет представление об устройстве мира и о смысле человеческого бытия, отличное от официально утвержденного, да еще считает необходимым это мнение устно или печатно распространять, тоталитарная советская идеология обозначает бранным, по ее понятиям, словом "отщепенец".

"Отщепенец" в соответствии со словарем Даля означает: "отщепившийся по разномыслию от общества, паствы, церкви; раскольник отступник, еретик".

Существенная особенность "отщепенца" – его индивидуализм, органическая неспособность отказываться от свободы суждения и волеизъявления во имя сохранения единства какой-либо социальной общности: партии, класса, нации.

Такие отщепенцы встречаются в любой стране, но только в России они составляют нечто вроде тайного ордена, который отличается от других замкнутых организаций (например, масонских) отсутствием зафиксированной программы, ус-

тава, обрядов. Этот "орден" принято в России называть интеллигенцией. И хотя любой житель России довольно легко выделяет из толпы интеллигента, до сих пор никому не удавалось так определить понятие "интеллигенция", чтобы это определение оказалось приемлемым для всех. Впрочем, одна особенность интеллигенции, кажется, признана всеми, а именно, что интеллигенция - чисто русский феномен, аналога которого нет на Западе. Русский философ Г. Федотов писал: "В наши дни европейские языки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но неудачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа этим именем"<sup>1</sup>. Во всяком случае, западному читателю следует понять, что "русская интеллигенция - это класс, или круг, или слой (все слова неточны), которого не знает буржуазно-демократическая Европа, как не знала она самодержавия", - так писала в дни октябрьского переворота 1917 года Зинаида Гиппиус, кстати, сама бывшая одной из ярчайших представительниц этого "ордена".

Большинство знатоков русской интеллигенции сходится также на том, что понятия "образованный русский" и "русский интеллигент" друг друга не покрывают: некоторые образованные люди в старой России и огромное число высокообразованных советских людей не могут быть причислены к интеллигенции.

Все же остальные атрибуты этой странной группы определяются в разных исследованиях и даже просто в беседах без той четкости, которая должна быть свойственна социологическим понятиям. Даже вопрос о времени возникновения русской интеллигенции до сих пор не нашел

окончательного решения в исторической науке. Да и как можно определить, когда возникло явление, суть которого достаточно затемнена?

Казалось бы, можно спокойно махнуть на все эти вопросы рукой, если бы не та огромная роль, которую играла до революции в России интеллигенция, и еще большая роль, которую она может сыграть в современном мире. О смысле функционирования русской интеллигенции так пишет один из самых страстных ее поклонников, русский (еще недавно неофициальный) философ Г. Померанц: "Интеллигенция – это часть образованного слоя общества, в которой совершается духовное развитие, в которой рушатся старые ценности и возникают новые, в которой делается очередной шаг от зверя к Богу... интеллигенция – это фермент, движущий историю"<sup>2</sup>. В общем, если бы не интеллигенция, человек надолго застрял бы на дереве. Столь же высокого мнения о значении русской интеллигенции придерживается американский ученый Мартин Малиа: "Ни один класс в русской истории не имел такого решающего влияния на историю своей страны и даже на современную мировую историю, как русская интеллигенция"<sup>3</sup>. Достаточно критически относившийся к русской интеллигенции русский богослов о. Сергей Булгаков утверждал: "Душа интеллигенции – ключ к грядущим судьбам русской государственности и общественности"<sup>4</sup>. Существует распространенное убеждение, что "только интеллигенция способна ориентироваться в нынешнем сложном обществе"<sup>5</sup>.

Для западного социолога дело не представляется в таком уж пафосном виде: для него

интеллигент – это просто образованный человек, выпускник университета. Русскому же человеку сразу бросается в глаза отличие русского интеллигента от западного дипломированного специалиста. Отличия эти весьма многочисленны, на одно из них обратил внимание русский философ Н. А. Бердяев, когда, после изгнания из советской России, он начал посещать ученые диспуты в Путиньи и в "Юнь-он пур ла веритэ". Н. Бердяева удивило, что западных ученых интересует не столько сама исследуемая проблема, сколько пути ее решения, предлагаемые на протяжении исторического развития. Так, когда речь заходила об одиночестве, западные участники диспута говорили об одиночестве у Петрарки, Руссо, Ницше, а русские – о самой проблеме одиночества. "У нас в России, – разъясняет Бердяев, – дело шло о последних, предельных, жизненных проблемах, о первичном, а не об отраженном, не о вторичном"<sup>6</sup>.

Западные образованные люди мало верят в возможность окончательно решить вопрос о Боге и после споров на эту тему спокойно расходятся по домам. Когда же собеседник одного из первых русских интеллигентов В. Г. Белинского прервал спор о Боге, напомнив, что пришло время обеда, В. Белинский закричал: "Как Вы можете думать о еде, когда мы с Вами еще не решили вопроса о бытии Божьем?"

Трудно представить себе тюремную камеру в какой-нибудь западной тюрьме, в которой заключенные образованные люди читали бы друг другу лекции о египетских папирусах или о феноменологии духа. О таких тюремных симпозиумах в русских камерах сообщают и

А. И. Солженицын в "Архипелаге", и А. Авторханов в своих "Мемуарах".

Эмигрантов-интеллектуалов из Советского Союза поражает, насколько герметически у их западных коллег отграничены интересы, занимающие их в стенах университетов, от интересов, которым они себя посвящают после окончания занятий. Такого рода наблюдения делают не только бывшие советские интеллектуалы, но и простые люди, выехавшие на Запад. Например, немцы-переселенцы из Советского Союза частенько выражают тоску по "интеллигентному" разговору, который приносил им такое удовлетворение в России.

Интеллигентность - некое свойство (или свойства), объединявшее и сегодня объединяющее в России людей самых разных социально-экономических классов при условии, что эти люди имеют определенный уровень образованности, сочетаемый с такими психологическими свойствами и особенностями ума, которые выделяют их из остального населения.

Учитывая это, мы можем лучше сориентироваться и в истории зарождения русской интеллигенции. В. Г. Белинский писал в 1846 году (статья "Мысли и заметки о русской литературе"): "И в наше время уже нисколько не редкость встретить дружеский кружок, члены которого совершенно забыли разделяющие их внешние различия и взаимно уважают друг в друге людей. Вот истинное начало образованной общественности, созданной у нас литературой"<sup>7</sup>.

Но сказать, что русская интеллигенция - это внесловная группа, или что ее объединяет фанатическая жажда знания, или что на Западе

нет такого явления, — это еще не значит дать строгое определение понятия "русская интеллигенция".

Особенно в западных лексиконах встречаются весьма поверхностные, подчас совершенно далекие от действительности определения русской интеллигенции. Так, например, словарь Вебстера определяет интеллигенцию как "русских интеллектуалов, обычно находящихся в оппозиции к правительству". Вероятно, источником Вебстера был такой специалист, как министр внутренних дел царского правительства Плеве: "Интеллигенция — это часть нашего образованного общества, которая с наслаждением подхватывает всякую новость и даже слух, клонящийся к дискредитированию правительства или духовно-православной власти". Ошибочна определена интеллигенция в Большом немецком народном лексиконе: "Возникшее в 1860 году понятие для радикальной, революционной духовной элиты образованного русского общества". В действительности же, русская духовная элита никогда не была радикальной, а интеллигенция возникла задолго до 1860 года.

Мы никогда не сможем разобраться в понятии "русская интеллигенция", если сосредоточимся на ее политической позиции или на степени образованности. На это справедливо обратил внимание А. И. Солженицын, когда писал, что интеллигенция — это ядро образованного общества, воспитывавшегося "не столько в библиотеках, сколько в душевных испытаниях", что интеллигенция — это слой "психический, а не социальный, и значит вход и выход всегда оставались в пределах индивидуального пове-

дения, а не рода работы и социального положения”<sup>8</sup>.

Как же можно определить это ”ядро”? Какие должен сделать человек из своего духовного опыта выводы, которые дали бы ему право стать членом ”ордена” интеллигентов?

## II

Вся история русской интеллигенции – это путь разочарования во всякого рода надперсональных ценностях, признанных священными и неприкосновенными в народных массах или же в государственных установлениях. Интеллигент всегда стремится вырваться из тоталитарных отношений. Интеллигент подчас патологически не доверяет тому, что считается общепризнанным. Книга Льва Копелева ”И сотворил себе кумира” самым своим названием свидетельствует о том, что автор ее, причисляя себя к интеллигенции, осудил свое прошлое, тот этап своей жизни, когда он, поверив в кумира, оказался вне ордена, к которому хотел бы принадлежать.

Для интеллигента личная свобода – это не только высшая, но единственно безусловная ценность, свобода, понимаемая лишь во вторую очередь как свобода политическая, а в первую – как свобода духа, свобода открытого отстаивания своих убеждений. Истина для русского интеллигента независима от злобы дня, она – над партиями, над нациями, над модой. Поэтому, в частности, для русского интеллигента невозможен тот выбор, который однажды сделал для себя Ф. М. Достоевский: ”Если бы кто мне

доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться с Христом, нежели с истиной”<sup>1</sup>.

Настоящий русский интеллигент не может поддаться никакому массовому психозу, он не верит в то, что не доказано строго в соответствии с признаваемыми им логическими правилами и известным ему опытом истории (потому-то русским интеллигентам-эмигрантам совершенно ясно, что масса так называемых пацифистов – это нечто, противоположное интеллигенции, хотя среди них большая часть людей с университетским образованием).

Когда советский студент отказывается изучать марксизм-ленинизм, находя, что методы доказательств в этой науке некорректны, он делает шаг вперед навстречу к интеллигентности – и прежде всего не потому, что отвергает коммунистическую идеологию, а потому, что она оперирует абсурдными, с его точки зрения, способами мышления.

Одним из существеннейших признаков русского интеллигента является связь между убеждениями и нравственными действиями. Русский интеллигент, уверовав в некую истину или же поняв, что нечто, всеми признаваемое, есть ложь, настраивается на служение этой истине и на противостояние лжи. Догма, каким бы числом людей она ни разделялась, не может быть привлекательной для интеллигента; более того, чем более массово то или иное увлечение, тем более подозрительности оно у него вызывает. Когда русская поэтесса Марина Цветаева написала:

Отказываюсь жить  
в бедламе нелюдей,  
отказываюсь выть  
с волками площадей,

- она раскрыла духовную установку интеллигента.

Жизнь интеллигента состоит в непрекращающемся искании самой глубокой истины, погоня за материальными благами не может занять всего его существа. Евангельское "не хлебом единым" для него не мудрая фраза, а естественный стиль жизни. "Ему не надобно миллионов, ему надо истину разрешить", - так писал Достоевский об одном типично интеллигентском герое своего романа "Братья Карамазовы". А еще раньше А. Герцен, чуть ли не образцовый русский интеллигент, говорил о своем "ордене": "Ни мысли, ни заботы о своем общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении; вся жизнь, все усилия устремлены к общему, без всяких личных выгод... Интерес истины поглощает всё"<sup>2</sup>.

Всегда считалось, что, хотя у интеллигенции нет своего устава, у нее есть некий неписанный кодекс чести, свои нравственные правила, которые она не может перейти ни при каких условиях: не лгать, не предавать, не интриговать, ни в ком не оскорблять человеческого достоинства, уважать чужую свободу как свою, не сотрудничать ни с палачами, ни с помощниками палачей. Один из самых красивых русских интеллигентов А. П. Чехов так сформулировал свои нравственные принципы: "Моя святая святых - это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновенье, любовь и абсо-

лутнейшая свобода, свобода от силы и лжи, в чем бы последние ни проявлялись"<sup>3</sup>. В своих дневниках, написанных в период распада Российской государственности, а вместе с тем и моральных устоев русского общества, Зинаида Гиппиус писала: "Мы принадлежим к тому широкому кругу русской "интеллигенции", которую, справедливо или нет, называли "совестью и разумом" России"<sup>4</sup>.

Находясь как бы между народом и властью, русская интеллигенция демонстрировала явный парадокс: будучи индивидуалистической по своей сути, она оказалась способной выразить не узко партийные или классовые представления, а общие нравственные принципы нации, без соблюдения которых русские как национальная общность не могли бы долго существовать. Гражданская война, когда, по словам одного историка, "красные убили больше красных, чем белых, и больше, чем белые убили красных"<sup>5</sup>, показала, что может случиться с Россией, если она слишком легко отбросит по сути дела христианские заповеди, составляющие основу нравственных правил интеллигентского "ордена". Будучи индивидуалистической, интеллигенция "не успокаивается в границах своей обособленности, сферы сознания и жизни"<sup>6</sup>.

Появление такого слоя общества, который определяют как "интеллигенция", стало не только возможным, но и необходимым в России потому, что русская православная церковь не выполнила той задачи, которую выполняла церковь на Западе - задачи отстаивания и укрепления основ христианской нравственности. Возникла интеллигенция вследствие того, что

Петр I сделал из православной церкви придаток государственной машины, лишив ее свободы проповедования и права на защиту личности от государства. Будучи властителем тоталитарного толка, Петр I видел как в отдельных учреждениях, так и в каждом человеке лишь функциональное начало, призванное осуществлять государственные цели. Наметив грандиозные реформы, Петр начал создавать класс образованных людей, не понимая, как и все тоталитарные вожди, что между знанием и нравственностью может существовать некоторая связь. Молодые люди, которые отправлялись по заданию Петра на Запад приобретать знания и навыки, подчас ощущали некоторое неудобство из-за противоречия между абстрактным разумом и конкретными формами жизни человека в России. Эти молодые люди стали предками русской интеллигенции. Вакуум, образовавшийся после исключения православной церкви из жизни русского общества, начала заполнять та часть образованного при Петре и его преемниках слоя, которая, говоря сегодняшним языком, не ограничивалась технократическими задачами. Так, вернувшийся из-за границы А. Н. Радищев, посланный туда для приобретения знаний, необходимых для строительства государства, воскликнул: "Гражданин, становясь гражданином, не перестает быть человеком!"<sup>7</sup>, таким образом разделив понятия "подданный" и "человек".

И с конца XVIII века, на протяжении всей истории послепетровской России, русские люди находили осуществленную христианскую нравственность не столько в церкви, сколько в кругах интеллигенции. И. Аксаков вспоминал:

”Если вам нужно честного человека, способного сострадать болезням и несчастьям угнетенных, честного доктора, честного следователя... ищите таковых в провинции между последователями Белинского”.

Так что, хотя слово ”интеллигенция” впервые появилось, к тому же в несколько ироническом звучании, в рассказе И. С. Тургенева ”Странная история” (1870), интеллигенция как явление возникла гораздо раньше, примерно в конце XVIII века, в екатерининскую эпоху, сформировалась к началу 30-х годов XIX века, а через столетие в ней произошел раскол, о котором речь пойдет ниже. Мы находим ярко выраженные черты интеллигенции у таких деятелей екатерининского времени, как Никита Панин, Александр Радищев, Николай Новиков, Иван Крылов, Иван Пнин. Г. Федотов справедливо утверждал, что ”XVIII век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенции в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенной культуры мысли, но изголодавшейся по ней”<sup>8</sup>.

### III

Казалось бы, положительная роль русской интеллигенции в истории духовной жизни России не может быть подвергнута сомнению. Однако в 1909 году в Москве выходит сборник статей о русской интеллигенции, в котором интеллигенция подвергается беспощадному осуждению. Сборник называется ”Вехи”, выступили в нем не какие-то ретрограды, обскуранты, но наиболее светлые и глубокие умы: философы

Н. Бердяев и С. Франк, богослов о. С. Булгаков, юрист Б. Кистяковский, общественный и крупный политический деятель П. Б. Струве, историк литературы М. Гершензон.

"Вехи" были своего рода попыткой осмысления событий революции 1905 года в свете тех разрушительных начал, которые во время этой революции проявились. Русский народ, которому так сострадала русская интеллигенция, показал свою способность к бунту бессмысленному и беспощадному: поджигались помещичьи усадьбы, дворянские гнезда — эти хранители русской культуры, по России прокатилась волна самосудов, пошатнулись те нравственные устои, которые казались несокрушимыми.

Нужно было найти виновника. Авторы "Вех" указали на него пальцем, им оказалась русская интеллигенция. Статьи в "Вехах" объединены отрицательным отношением к интеллигенции, общим представлением о ее свойствах. Себя к интеллигенции авторы "Вех", естественно, не относили.

Под влиянием "Вех" создавалась та концепция русской интеллигенции, которая находит большое число сторонников как среди русских, так и среди западных исследователей (приведенные выше определения русской интеллигенции в западных лексиконах — свидетельство тому).

Согласно этой концепции, русская интеллигенция — это секта, члены которой отличаются нигилистическим отношением к установленным в народе ценностям. Чтобы быть причисленным к интеллигенции, надо отрицать религию, весь русский общественный и государственный строй, молиться на народ, о котором интелли-

генция не имеет никакого представления (она – "беспочвенна"), верить безусловно в естественные науки, презирать философию, поклоняться определенным кумирам: Чернышевскому, Писареву, Михайловскому. В числе свойств интеллигенции авторов "Вех" особенно отталкивает ее пренебрежение истиной как таковой, если она не помогает бороться с социальной несправедливостью. Н. Бердяев писал: "Долгое время у нас считалось почти безнравственным отдаваться философскому творчеству, в этом роде занятий видели измену народу и народному делу"<sup>1</sup>. Интеллигенция обвинялась в том, что она делит истины на "левые" и "правые", "прогрессивные" и "реакционные". Такое отношение к истине авторы "Вех" не без основания определяли как культурный декаданс (вряд ли они могли предполагать, что этот культурный декаданс до такой степени охватит Европу 60-80-х годов XX века, что чуть ли не все нравственные и политические понятия вообще потеряют какой-либо абсолютный смысл и даже атомная ракета, выпущенная с установки в стране "прогрессивной", будет объявлена более безобидной, чем ракета, которой выстрелят "реакционеры").

"Вехи" обвиняли интеллигенцию в том, что она насквозь политизирована: ни один вопрос – этический, эстетический, педагогический – она не способна рассматривать вне ее политических задач. Интеллигент – нигилист, он способен лишь к разрушению и бесплоден в созидании. Цель интеллигенции – распределение и уравнивание имуществ, а не поиски способов к увеличению национального богатства. Для интеллигента нет личности, а есть классы: бедные

и богатые, правители и угнетенные подданные. Нравственный кодекс интеллигенции содержит требование жертвы, готовности пойти на смерть для народа. Интеллигент не способен к раскаянию, к самоанализу, во всех несчастях он обвиняет не человека, а неразумное устройство жизни. Авторы "Вех" предсказывали, что если интеллигентское сознание станет в России доминирующим, страна придет к величайшей катастрофе.

Октябрь 1917 года и последующие события, казалось бы, полностью подтвердили самые страшные предсказания, сделанные в "Вехах", а еще раньше в писаниях француза Жозефа де Местра, который в начале XIX века напроорочил страшные беды для России, если ее жизнь будут определять "Пугачевы, вышедшие с русских университетских кафедр".

В 1922 году уже в послереволюционной России по недосмотру еще неопытной советской цензуры вышел сборник статей "Из глубины", который как бы подтверждал прозорливость "Вех", уже опираясь не на предположения, а на кошмарные факты русской послереволюционной действительности.

Таким образом, две концепции русской интеллигенции выглядят кардинально противоположными: не только оценка значения интеллигенции не совпадает в этих двух описаниях ее, но и свойства, присущие интеллигенции, определяются в них настолько различно, что возникает впечатление, будто речь идет о двух разных социальных явлениях.

Кто же прав: авторы "Вех", "Из глубины" и следующие во многом за ними авторы сборника "Из-под глыб", вышедшего под редакцией Сол-

женицына в середине 70-х годов, или же те, кто видит в интеллигенции чуть ли не лучшее, что дала Россия миру, даже надежду сегодняшнего человечества?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вновь вернуться к истории возникновения интеллигенции как группы, обладающей какими-то общими признаками.

#### IV

Как уже говорилось, русская интеллигенция возникла как достаточно определившееся социально-психологическое явление в середине XVIII века. Подобно любой общности при возникновении своем она была еще внутри себя слабо дифференцирована, и различия между отдельными типами интеллигентов казались мало значительными. Образованность, культ научного знания, морализм, сочувствие угнетенному народу, оппозиция самодержавной власти и надежда на просвещенного монарха, поиски (главным образом на Западе) законченного мировоззрения и стремление привести свою жизнь в соответствие с найденными нравственными нормами, скептическое отношение к церкви — все эти свойства объединяли интеллигентов, появившихся в русском обществе после реформ Петра I, а затем в результате либерально-просвещенческих увлечений Екатерины II и Александра I. Был и некий чисто человеческий шарм, выделявший интеллигентов из консервативного общества, и Грибоедов в образе Чацкого ("Горе от ума") показал такой обобщенный тип интеллигента конца первого этапа

развития этого "ордена". В "Горе от ума" видно, что интеллигенция уже тогда осознавала себя как группу, противостоящую всем остальным слоям русского общества: в языке Чацкого часто встречаются такие антитезы, как "мы" - "они", а монологи Чацкого - развернутые декларации интеллигентского сознания:

Теперь пускай из нас один,  
Из молодых людей, найдется - враг  
исканий,  
Не требуя ни мест, ни повышенья в чин,  
В науки он вперит ум, алчущий познаний;  
Или в душе его сам Бог возбудит жар  
К искусствам творческим, высоким  
и прекрасным, -  
Они тотчас: разбой! пожар!  
И прослывет у них мечтателем, опасным!<sup>1</sup>

Уже тогда проявилась склонность русской интеллигенции рассматривать любой, казалось бы, бытовой вопрос в свете высших начал. Об интеллигентах 40-х годов XIX века Герцен вспоминал: молодой человек, "который шел гулять в Сокольники, шел для того, чтобы отдаваться пантеистическому чувству своего единства с космосом; и если ему попадался по дороге какой-нибудь солдат под хмельком или баба, вступавшая в разговор, философ не просто говорил с ними, но определял субстанцию народную в ее непосредственном и случайном проявлении"<sup>2</sup>. Это свойство русской интеллигенции сохранилось на протяжении всей ее истории. Через сто лет после Герцена Н. А. Бердяев замечал: "Наша интеллигенция... умудрялась даже самым практическим интересам

придавать философский характер, конкретное и частное она превращала в отвлеченное и общее”<sup>3</sup>.

Через всю историю русской интеллигенции проходит воинственный ее морализм. Уже к интеллигенции времени Чацкого можно отнести слова, которыми один из авторов “Вех” С. Л. Франк определил это свойство русской интеллигенции: “Нравственность, нравственные оценки и нравственные мотивы занимают в душе русского интеллигента совершенно исключительное место. Если можно было бы одним словом охарактеризовать умонастроение нашей интеллигенции, нужно было бы назвать его морализмом”<sup>4</sup>, свойством, которое Франк считал очень опасным.

Русский интеллигент уже тогда, в конце XVIII – начале XIX века, считал всю свою жизнь связанной с Россией, неважно, как он себе ее представлял конкретно: ругая Россию или восхищаясь ею, интеллигент сознавал свою нераздельность с ней, более того, свою ответственность за все, что в ней происходит.

И споры, споры до поздней ночи – обо всем на свете, в конце их подчас забывая, каков был повод, заведший спорщиков в глубины метафизики. Не без иронии описывал такие споры Пушкин в “Евгении Онегине”:

Меж ими всё рождало споры  
И к размышлению влекло:  
Племен минувших договоры,  
Плоды наук, добро и зло,  
И предрассудки вековые,  
И гроба тайны роковые,  
Судьба и жизнь в свою чреду, –

Всё подвергалось их суду.  
Поэт в жару своих суждений  
Читал, забывшись, между тем  
Отрывки северных поэм...<sup>5</sup>

Все эти и некоторые другие свойства в большей или меньшей степени характеризовали еще не дифференцированную на два потока русскую интеллигенцию.

И только в 30–40-е годы XIX века определился раскол прежде вроде бы единого ордена на две противоположные, а иногда и враждебные группы.

Историки русской интеллигенции заметили раскол ее на западников и славянофилов, ибо различие между западниками и славянофилами лежало на поверхности. Однако до сегодняшнего дня, кажется, нигде не отмечено гораздо более серьезное и приведшее к гораздо более роковым последствиям разделение интеллигенции на революционно-позитивистскую (назовем их интеллектуалами) и культурно-духовную группы (собственно интеллигенция). Два великих человека, поэт А. Пушкин и философ П. Чаадаев, своими писаниями как бы заявили об отпочковании от общего ствола интеллигенции новой ветви, которую "Вехи" и их поклонники отказываются причислять к интеллигенции. Таким образом, все, занимавшиеся феноменом русской интеллигенции, ощущали, что есть какое-то неудобство в утверждении интеллигенции как единого целого после 40-х годов XIX века. Даже один из авторов "Вех" Н. Бердяев говорит о некоем "высшем" и "низшем" слое ее: высший он называет интеллигенцией, а низший – интеллигентщиной: "Те русские философы, которых

не хочет знать русская интеллигенция, которых она относит к иному, враждебному миру, тоже ведь принадлежат к интеллигенции, но чужды "интеллигентщины"<sup>6</sup>. Более решительно отмежевывает лучших русских мыслителей от отрицаемой им интеллигенции другой автор "Вех" П. Б. Струве: "Разница между Новиковым, Радищевым и Чаадаевым, с одной стороны, Бакуниным и Чернышевским, с другой стороны, не есть просто историческое различие. Это не звенья одного и того же ряда, но два по существу непримиримых духовных течения, которые на всякой стадии развития должны вести борьбу"<sup>7</sup>. Таким образом, Струве даже отрицает родство между этими группами, по крайней мере он не говорит, что у них общие предки. Того же мнения придерживался Г. Федотов, отказывавшийся включать в число интеллигентов, например, Самарина, Ключевского, А. Островского, ибо они не подпадали под определение, которое дал интеллигенции Г. Федотов (её, по его мнению, характеризует "идейность задач и беспочвенность идей").

Однако среди авторов сборника "Из глубины" был один, профессор П. Новгородцев, который признавал равное право называться интеллигенцией двум ее, казалось бы, столь различным ветвям: "Участники "Вех", ведущие свою генеалогию от Чаадаева, Достоевского и Вл. Соловьева, - писал он в статье "О путях и задачах русской интеллигенции", - столь же законно могут быть рассматриваемы в качестве представителей русской интеллигенции, как их противники считаются представителями другого течения, связывающего себя с традицией Бакунина, Чернышевского, Лаврова и Михай-

ловского". Современный же исследователь исключает из круга русской интеллигенции Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского. И этот исследователь, и Г. Федотов по-своему правы, ибо относят к русской интеллигенции лишь тот ее тип, который блистательно описан в "Вехах" и в "Из глубины": интеллигенцию революционно-позитивистскую, интеллектуалов.

К сожалению, вторая ветвь русской интеллигенции, возникновение которой было определено поражением декабристского восстания и которая заявила о себе "Философическими письмами" Чаадаева и произведениями Пушкина с конца 20-х и в особенности во второй половине 30-х годов, еще не нашла своего исследователя, конгениального авторам "Вех". Таковым пытается стать Г. Померанц.

Для Г. Померанца интеллигент – это прежде всего носитель личностного начала. Философ вовсе не считает это начало спасительным во всех случаях. Он сравнивает его с атомной энергией: "Личностное мышление интеллигента несет в себе одновременно возможность Христа и Антихриста. Победа интеллигенции над традицией – это возможность новой, более высокой степени свободы и нового, более страшного рабства. Интеллектуальная свобода – что-то вроде атомной энергии. Она может служить и добру и злу, может спасти мир и погубить его"<sup>8</sup>. Продолжив мысль Г. Померанца, можно сказать: как сегодня немислимо развитие промышленной цивилизации без атомной энергии, так и немислимо духовное развитие, само физическое существование человечества без торжества личностного начала. И если человечество будет продолжать более доверять интел-

лектуалам, чем интеллигенции, о которой будет речь ниже, весь мир придет к тому состоянию, в котором оказалась Россия, воплотившая пусть и в довольно грубой форме идеалы революционно-позитивистской части своего общества.

## V

К середине XX века оказалось, что гигантские успехи технической цивилизации не только не привели к соответствующему прогрессу общественных отношений, но что человеческое сознание в каких-то, очень существенных моментах даже деградирует. Главным проявлением такой деградации некоторые (например, Ортега-и-Гассет) не без основания считают эпидемии массовых психозов, которые используются преступными политическими группками для захвата и удержания власти. Примитивные лозунги, за которыми не скрывается ничего, кроме воинственного невежества или же полубракованности, подчиняют себе массы до такой степени, что они, сами того не ощущая, начинают движение к самоуничтожению.

Из этой ситуации человечество может быть выведено лишь людьми, свободными от эпидемий массовых истерий и демагогических доктрин, не выдерживающих критики разума или нравственного чувства.

Такой тип человека возник в России в 30-40-е годы прошлого века. Его кредо было выражено в строке одного из последних стихотворений А. Пушкина ("Из Пиндемонти"): "Зависеть от царя, зависеть от народа - не

всё ли нам равно?" Пушкин отверг то народопоклонство, которое станет потом столь характерным для революционной интеллигенции, боготворившей народ, как некое, изначально справедливое единство:

Пред боязливой их толпой,  
Жестокой, суетной, холодной,  
Смешон глас правды благородной,  
Напрасен опыт вековой.

("Моё беспечное незнание", 1823)

Когда "веховцы" обвиняли русскую интеллигенцию в народопоклонстве (С. Булгаков), они правильно оценивали ту революционную часть интеллигенции, которая ничему не научилась ни на опыте поражения декабристов в 1825 году, ни после провала "хождения в народ", ни в результате разгула народного хулиганства в 1905 году. Потому-то под определение интеллигенции, данной в "Вехах", не мог попасть великий основатель ее культурно-духовной ветви А. Пушкин, заявивший, что он "к ногам народного кумира не клонит гордой головы".

С. Франк был прав, когда в народопоклонстве интеллигенции видел форму атеизма: нельзя служить двум богам, писал он.

В реальной русской истории происходило так, что стихийно выдвигаемые народом себе в вожди пугачевы, разины или объявлявшие себя народными вождями ленины приносили ему больше горя, чем радости. А когда заигрывавшая с народом революционная интеллигенция поднимала массы на бунт, то на поверхность

событий выплывали Федьки-каторжники или Шариковы. Опираясь на достаточно богатый опыт изучения российской истории, Г. Померанц писал: "Народ хорош, пока он неподвижен, не втянут в историю, остается патриархальным Шариком. Взбаламученный, взбунтовавшийся народ теряет свою душу, становится массой, глиной в руках бесов"<sup>1</sup>. Шарик стал Шариковым, дворняжка - историческим деятелем пролетарской революции.

Но отвергая народопоклонство, русская духовная интеллигенция ни в коем случае не оставалась равнодушной к страданиям народа. Само ее возникновение во многом было связано с ее возмущением нечеловеческими условиями крепостного права. Н. Михайловский нашел верное слово, когда назвал интеллигентов "кающимися дворянами". Мотивы вины перед народом, ощущение несправедливости такого положения, при котором образованный дворянин может наслаждаться жизнью, в то время как крепостной крестьянин не имеет ни человеческих прав, ни достойного человека уровня материальной жизни - эти мотивы важнейшие в русской литературе XIX века. Не обоготворяя народ как массу, русский писатель-интеллигент видел среди простых людей интереснейшие и очень близкие ему по духу индивиды. Достаточно напомнить о Лукерье у Тургенева ("Живые мощи"), о Платоне Каратаеве у Льва Толстого ("Война и мир"), о мужике Марее у Достоевского.

Но суть в том, что для духовно-культурного типа интеллигенции свобода, благосостояние - принципы всеобщие. Для массы же и для революционера важна уравнительная спра-

ведливость, результат которой - разорение одних и временное обогащение других (что ведет к тому, что через какое-то время начинается новая борьба за новое перераспределение). Питая глубочайшее уважение к таланту человека-творца, человека из народа, русский культурный интеллигент не верит, что если отдельные люди из народа объединятся в массу, движимую утопическими надеждами, может возникнуть что-нибудь благое для народа. Русский интеллигент готов отдать свою жизнь делу освобождения личности, и парадоксальным образом именно такие интеллигенты оказывают истинную пользу народу. Одним из таких интеллигентов был П. А. Столыпин. Причисляя его к интеллигенции, можно предвидеть удивление одних и даже возмущение других. Но в наше время, когда вошло в катастрофическую привычку подгонять явление под понятие, необходима смелость, чтобы, определив корректно понятие, обозначить им явление (или лицо), соответствующее этому определению. Если культурно-духовный интеллигент - это человек высокой идеи, болеющий за Россию, человек, стремящийся к цельному мирозерцанию и подчиняющий ему свою жизнь, отдающийся творчеству, а не разрушению, заботящийся не о своей шкуре, а об общем благе, понимаемом как благо каждой личности, а не плазматического класса или партии, то Столыпин и был русским интеллигентом, как его предшественники, деятели реформ 60-х годов. Как народные избранники, которые ему аплодировали в Думе. Как те агрономы, землемеры, инженеры, мужики, которые практически осуществляли великий замысел Столыпина. Не о крестьянстве думал

П. А. Столыпин, когда разрабатывал свою реформу, а о крестьянине. То самое личностное сознание, которое лежит в основе нравственных представлений культурно-духовного интеллигента, помогло Столыпину найти такие пути решения экономических проблем, которые приносили благо одним, не разрушая блага других (это не значит, что в реформах Столыпина не было ошибок). Характерным для интеллигента было и положение П. А. Столыпина между косяной властью и революционно-нигилистической интеллигенцией: "Его меры были слишком реакционны для разрушительных и слишком разрушительны для реакционных" сил - так определил А. И. Солженицын особенность реформ П. А. Столыпина<sup>2</sup>.

Русский культурно-духовный интеллигент свободен от групповых пристрастий и групповых антипатий. Для него есть конкретное явление, конкретное лицо, а не созданный общественным мнением абстрактный тип. А. П. Чехов писал: "Фарисейство, тупоумие и произвол царят не в одних только купеческих домах и кутузках: я вижу их в науке, в литературе, среди молодежи. Поэтому я одинаково не питаю пристрастия ни к жандармам, ни к мясникам, ни к ученым, ни к писателям, ни к молодежи. Форму и ярлык я считаю предрассудком"<sup>3</sup>. Под этими словами мог бы подписаться любой культурно-духовный русский интеллигент.

Такое отношение к личности связано у русского интеллигента чаще всего сознательно, а иногда подсознательно с его глубокой религиозностью. В. Белинский так определял особенности пушкинского гуманизма: его гуманизм состоит "в религиозном уважении к че-

ловческому достоинству во всяком человеке, без различия лиц, прежде всего за то, что он — человек”<sup>4</sup>.

Слово ”религиозный” у Белинского здесь не просто положительный эпитет. Свои статьи о Пушкине он писал, когда еще находился на распутье. Духовное развитие самого Белинского в 30–40–е годы шло параллельно с процессом размежевания интеллигенции на две упомянутые группы. И важнейшей духовной проблемой была тогда именно религиозная: одна часть интеллигенции пошла по пути атеизма, в лучшем случае по пути религиозности без Бога (именно о такого рода религиозности русской интеллигенции говорил философ Владимир Соловьев), другая часть углубилась в вопросы метафизики и, решая их, отвернулась от позитивизма и хотя бы умозрительно обратилась к Богу. Начав свое духовное развитие как идеалист, увлеченный Шеллингом и Гегелем, Белинский в конце своей жизни пришел к Фейербаху, к атеизму, к отрицанию личностного начала и стал основателем революционно–нигилистического направления в русской интеллигенции. Недаром впоследствии Белинскому поклонялись представители обеих ветвей: его считал своим учителем вождь революционеров–позитивистов Чернышевский, ему же посвятил свой роман ”Отцы и дети” один из самых типичных представителей культурно–духовного крыла интеллигенции И. С. Тургенев.

Христианское миросозерцание лежит в основе жизненных установок культурно–духовной части интеллигенции (как группы), что не мешает отдельным представителям этой группы причислять себя к атеистам (А. П. Чехов,

А. Д. Сахаров), несмотря на то, что их деятельность содержит все признаки религиозного отношения к человеку. Даже революционной части русской интеллигенции нелегко давался разрыв с верой и переход к полному атеизму. Почти до середины XIX века русские революционеры еще оперировали евангельскими образами, когда говорили о своей борьбе за справедливость. Так, после ареста Н. Чернышевского революционный поэт Н. Некрасов писал о нем:

Его еще покамест не распяли,  
Но час придет, он будет на кресте,  
Его послал Бог гнева и печали  
Царям земли напомнить о Христе<sup>5</sup>.

И даже незадолго до революции 1917 года группа большевиков, наиболее враждебно к религии относившейся партии, почувствовала потребность в религиозном обосновании революции и социализма и образовала в эмиграции на острове Капри своего рода исследовательский центр, смысл которого был "богоискательство" (М. Горький, А. Луначарский, А. Богданов). Ленин потребовал отлучения этих еретиков от "церкви атеистов" (понятие "церковь атеистов" сформулировал Достоевский<sup>6</sup>).

Что для русского интеллигента вера в Бога была ничуть не менее разумной, чем атеизм, выразилось, в частности, в письмах А. Герцена "С того берега", в которых еще очень явно выражены следы нигилизма (во всяком случае в их посвящении сыну), однако и достаточно четко выражены некоторые основополагающие принципы духовно-культурной части интелли-

генции (в частности, личностная идея): "Подчинение личности обществу, народу, человечеству, идее – продолжение человеческих жертвоприношений, заклание агнца для примирения Бога, распятие невинного за виновных"<sup>7</sup>. В письме из Парижа 1 марта 1849 года Герцен спрашивает: "Объясните мне, пожалуйста, отчего верить в Бога смешно, а верить в человечество не смешно; верить в Царство небесное – глупо, а верить в земные утопии – умно?"<sup>8</sup>

Те, кто обвиняет русскую интеллигенцию в атеизме, просто идентифицируют веру с церковью. В этом смысле даже величайший христианин Лев Толстой оказывается причисленным к атеистам. Если же мы определим религиозность, как веру во второе, метафизическое явление мира, как служение единственной надперсональной ценности – Богу, как следование нравственным основам христианства, то русская интеллигенция оказывается наиболее религиозной частью общества. Одно из главных положений Евангелия – "не хлебом единым" – воспринимается духовной частью русской интеллигенции не как совет, а как единственно возможная основа для жизни. Совершенно прав историк русской общественной мысли Иванов-Разумник, включая в свое определение интеллигенции ее антимещанский характер и ориентацию на создание духовных ценностей<sup>9</sup>.

Трагедия русской культурно-духовной интеллигенции состояла в том, что она далеко не всегда оказывалась способной претворить свои идеалы в жизнь. Иногда это объясняют незнанием жизни, оторванностью от почвы, слабоволием. Какая-то доля истины во всех этих обвинениях есть. Слабость русской интел-

лигенции проявляется у некоторых ее представителей в смене настроения – от восторженного оптимизма к безнадежному пессимизму, в алкоголизме, в неуравновешенности. Но объяснять все это "беспочвенностью" кажется было бы слишком упрощенным. Так можно и гибель Христа объяснить его "беспочвенностью": народ-то Его не понял, за ним не пошел. Победил Христос не физически, Он не получил земного царства, да и не желал его. Так и русская духовная интеллигенция – она торжествует в сфере идей. К тому же само понятие почвы, взятое "веховцами", а вслед за ними и Г. Федотовым, вероятно, у Достоевского, недостаточно ясно. Если под почвой разуметь народ, с его укорененными традициями, с его верой, то события 1917 года показали, что народ не менее беспочвен, чем революционная интеллигенция. Разве культурная интеллигенция разрушала храмы, ставила к стенке священников, разве она, а не этот самый народ грабила национальные богатства?

Один из самых умных и самых последовательных представителей русской культурно-духовной интеллигенции, лауреат Нобелевской премии по литературе 1933 года Иван Бунин написал честнейшую книгу – "Окаянные дни", представляющую собой смесь зарисовок из быта послеоктябрьской России с историософскими обобщениями. Видя русский народ в революции, Бунин опровергает миф о едином русском народе как некой почве: "Народ сам сказал про себя: "Из нас, как из дерева, – и дубина и икона", – в зависимости от обстоятельств, от того, кто это дерево обрабатывает"<sup>10</sup>. Народ так же виноват в разрушении

России, как и "не народ": "Левые" все "эксцессы революции валят на старый режим, черносотенцы - на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить на другого - на соседа и на еврея: "Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жида на всё подбили"<sup>11</sup>.

Русская культурно-духовная интеллигенция не в меньшей, а может быть, и в большей степени представляет русскую "почву", чем "народ". Она отличается от всех классов русского общества своим отношением к России. Для нее Россия - не кормушка, не опытное поле для всякого рода экспериментов, не туманный миф, не просто место рождения. Истинный интеллигент живет Россией как воздухом. Этим воздухом подчас трудно дышать, но ведь без воздуха и жизни-то нет. Поэтому-то русский интеллигент не питает ни пристрастий, ни ненависти ни к одному классу российского общества, ни к одному представителю населяющих ее нацменьшинств. Защищая личностную идею, он таким образом становится выразителем сознания страны, а не классов, партий, национальных групп. Культурно-духовный интеллигент, входящий в партию, цель которой, например, благо одних классов и уничтожение других, - нонсенс.

Таким же нонсенсом является интеллигент - сторонник насилия. Когда выше высказывалось предположение, что включение П. А. Столыпина в число русских интеллигентов может вызвать недоумение, то подразумевалась правительственная деятельность П. А. Столыпина как министра внутренних дел и премьер-министра, в период правления которого в России совершались смертные казни. Действительно, когда

Столыпин настаивал на применении смертных казней к террористам, убийцам, он действовал не так, как этого хотелось бы интеллигенции, которой гораздо ближе была в то время позиция В. Короленко, выраженная им в статье против смертных казней "Бытовое явление". И хотя у Столыпина для спасения России в кратчайший срок не было тогда иного выхода, как прекратить разнузданный левый террор с помощью смертной казни его непосредственных исполнителей (что П. А. Столыпину и удалось достичь), он действительно не может быть причислен к интеллигентскому "ордену" с абсолютной безоговорочностью.

Отношение к насилию и стало тем предметом спора, который развел единую когда-то до середины XIX века русскую интеллигенцию по разным лагерям. Этот раскол наметился еще в тайных декабристских обществах и завершился после поражения декабристов, когда одни интеллигенты ушли в мысль (Чаадаев, Пушкин, Лермонтов, Печерин), а другие - в революционное действие. Возникающая революционная интеллигенция во всем обвиняла несправедливое общественное устройство, которое должно быть ликвидировано и заменено другим, справедливым (коммунистическим) устройством. С этим убеждением и оказались связанными и атеизм, и позитивизм, и увлечение естественными науками, и целый ряд других свойств той части интеллигенции, которая охарактеризована в "Вехах". Другая же часть интеллигенции углубилась в вопросы духа, в анализ человеческой природы, и учение о нравственном самосовершенствовании легло в основание миропонимания этой части интеллигенции задолго

до того, как его окончательно разработал Лев Толстой.

Еще Пушкин сомневался в разумности тех, кто хочет с помощью насилия перестроить общественные отношения: "Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка"<sup>12</sup>

В своей статье о русской интеллигенции С. Л. Франк призывает ее "от непроеизводительного противокультурного морализма... перейти к творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму"<sup>13</sup>. Этот призыв не может не показаться несколько странным: революционная нигилистическая интеллигенция не способна к такому переходу, а истинная, культурно-духовная русская интеллигенция на том и стоит: на созидании и религиозном гуманизме.

В романе А. И. Солженицына "Август Четырнадцатого" приведен один важный для нашей темы семейный спор. Дочь промышленника, инженера Архангородского Соня упрекает отца в том, что он - против революции: "Стыдно, папа! Вся интеллигенция - за революцию!" Ответ Архангородского - кредо творческой интеллигенции: "А мы - не интеллигенция? Вот мы, инженеры, кто все главное делает и строит, - мы не интеллигенция? Но разумный человек не может быть за революцию, потому что революция есть длительное и безумное разрушение"<sup>14</sup>.

Конечно, можно поспорить с утверждением, что главное дело - это то, которое делают инженеры. Важно иное - созидание, а не раз-

рушение определяет культурно-духовную часть русской интеллигенции.

## VI

Созидание невозможно без отказа от устаревших форм жизни. В связи с этим можно понять сущность отношений русской интеллигенции с властью, далеко не всегда склонной к отказу от неподвижного консерватизма.

Русская духовная интеллигенция занимала срединное, таившее в себе опасность положение между властью и ее противниками то ли в народных массах, то ли среди революционной интеллигенции. Бердяев даже считал, что "интеллигенция была поставлена в трагическое положение между империей и народом" и в конце концов "была раздавлена между двумя этими силами - силой царской власти и силой народной"<sup>1</sup>. Раздавить русскую интеллигенцию все же не удалось, она существует и сегодня (об этом - ниже), и, - на что следует обратить внимание, - она какими-то своими сторонами соприкасалась или с народом, или с властью. С народом ее сближала жажда некоей высшей правды и социальной справедливости, но отталкивали от народа его темные инстинкты, проявлявшиеся во всякого рода бытовых дикостях, предрассудках (см. повести А. Чехова "Мужики" и И. Бунина "Суходол" и "Деревня"), в абсурдных массовых вспышках бессмысленно проявлявшегося протеста. С русской дореволюционной властью культурно-духовную интеллигенцию сближала склонность к некоторой консервации исторических традиций, отталки-

вание от попыток крутых переломов. Враждебно же была настроена русская интеллигенция к власти вследствие неспособности власти сдвинуться с мертвого статус-кво, из-за умеренного использования ею органов насилия и подчас произвола бюрократии.

Вместе с тем культурная часть русской интеллигенции неоднократно проявляла готовность сотрудничать с властью. А. И. Солженицын слишком обобщенно характеризует отношения образованного русского слоя с руководством страны до революции: "В том был корень всех бед, что как только российский гражданин получал хоть начатки образования - он тут же непременно становился врагом правительства, и дальше уже ни лаской, ни таской его нельзя было от этого отклонить"<sup>2</sup>.

В действительности же, русская интеллигенция либерального направления нередко сотрудничала с властью, эти периоды сотрудничества власти и интеллигенции приводили к расцвету русской культуры и подчас к гуманизации русской общественной системы. Грандиозные свои реформы Петр осуществил, в частности, благодаря тому, что созданный им образованный слой, прообраз интеллигенции, поддержал его в борьбе чуть ли не против всей остальной России. Когда Екатерина II объявила себя сторонницей Просвещения, вокруг нее сразу сгруппировалась лучшая часть интеллигенции. Но когда, запретив ей же разрешенную свободу книгопечатания, Екатерина II засадила в Шлиссельбургскую крепость Н. Новикова и услала А. Радищева в Сибирь за то, что они, поверив искренности ее намерений, стали проповедовать те же идеи, которые она восхваляла

в письмах Дидро и Вольтеру, интеллигенция от монархии отвернулась (ср. резко отрицательную ее характеристику у Пушкина в статье о народном образовании). То же произошло в истории отношений с властью декабристов. В начале своего царствования Александр I начал осуществлять реформы в областях социальной и культурной. Эти реформы были восторженно встречены и поддержаны интеллигенцией (Пушкин: "Дней александровых прекрасное начало"). Декабрист барон Штейнгель писал после поражения декабрьского восстания, что начал участвовать в политической деятельности, когда "при начале царствования в Бозе почившего государя (Александра I) открылось вождеденное намерение его просветить Россию и уничтожить в ней рабское состояние". Точка зрения интеллигенции того времени выражена в словах Пьера Безухова, героя романа Льва Толстого "Война и мир": "Общество может быть не тайное, ежели правительство его допустит. Оно не только не враждебно к правительству, но это общество настоящих консерваторов. Мы только для того, чтобы завтра Пугачев не пришел резать моих и твоих детей и чтобы Аракчеев не послал меня в военные поселения, — мы только для того беремся рука с рукой, с одной целью общего блага и безопасности"<sup>3</sup>.

В уставе декабристского общества "Союз спасения" было сказано, что цель его — "распространение между соотечественниками истинных правил просвещения и нравственности и помощь правительству к возведению России в степень величия и благоденствия, к коим она Творцом предназначена" (1816 г.). Однако Александр I больше поверил реакционной бюро-

кратии и духовенству, чем интеллигенции, и тем самым толкнул одну ее часть на антиправительственную деятельность.

Культурная интеллигенция оказала полную поддержку императору Александру II в деле осуществления великих реформ 60-х годов, ставших началом русской свободы и культурного расцвета России. Даже находившийся в эмиграции глава антиправительственной оппозиции А. Герцен написал Александру II, когда тот объявил о предполагаемых реформах: "Ты победил, галилеянин".

И, наконец, русская интеллигенция стала активно сотрудничать в Государственной Думе (русском парламенте) после 1905 года, когда в первый и в последний раз в своей истории она создала партии - кадетскую и октябристскую, и уж во всяком случае вторая делала все возможное, чтобы помочь правительству выйти из кризисной ситуации. Но Николай II больше верил придворным старцам, чем цвету русской мысли, что и привело его самого к трагическому концу.

И последний пример уже из советской истории: ни одна группа населения не оказала такой поддержки Хрущеву и Горбачеву, как интеллигенция, когда эти руководители страны подали надежду на либерализацию системы и высвобождение культуры из-под власти бюрократии.

При всех зигзагах в отношениях между русской дореволюционной властью и интеллигенцией надо не упускать из виду, что у дореволюционной власти никогда не было всеобъемлющей обязательной для каждого подданного идеологии. Даже в самые темные периоды

реакции у царского правительства (в XIX и в XX веках) не было тоталитарных претензий на духовную жизнь русского интеллигента. Цензура усиливалась или ослаблялась, но не было такого аппарата, который позволял бы власти диктовать направление духовной деятельности и наказывать тюрьмой или Сибирью за отклонение от официальной идеологии. Бывало, что запрещались отдельные произведения, но за весь XIX век известен лишь один случай (Чаадаев), когда писатель наказывался бы за свою творческую работу органами государственной безопасности, а до середины XIX века бывали случаи и наказания самих писателей или философов за их антиправительственные выступления. Но уже никогда, начиная с середины XIX века и до самой революции, ни один писатель или философ не преследовались правительством за их убеждения. Достаточно примера Льва Толстого, который в романе "Воскресенье" так описал Россию, что за подобное описание в сталинское время его сгноили бы на Колыме, а в брежневское – в лучшем случае изгнали бы из страны. В дореволюционной же России он был почитаем всеми, в том числе и представителями верхов как великий художник, гордость страны.

После революции 1905 года Россия стала одной из самых свободных в духовном отношении стран мира. Цензуры фактически не было никакой, расцветало книгоиздательское дело, к 1917 году Россия заняла первое место в Европе по количеству названий выпущенных книг. В России воцарилась атмосфера духовного плюрализма. Издавались газеты от большевистской "Правды" на крайне левом фланге до по-

чти фашистской газеты "Русское знамя" - на крайне правом. А между ними газеты, журналы, научные издания всех направлений, оттенков мысли. На художественных выставках можно было видеть картины реалистов, натуралистов, кубистов, абстракционистов, символистов. И никому, даже самому царю, не могло прийти в голову запретить, разогнать, раздавить... В 1914 году английский писатель Морис Беринг, посетивший Россию, писал: "Средний русский человек из образованной среды замечательно хорошо образован - настолько лучше образованного англичанина, что было бы глупо делать сравнения". Такой прогресс в России стал, в частности, потому-то и возможным, что между интеллигенцией и властью в XIX и в XX веках не было и подобия такого взаимонепонимания, как в сегодняшнем Советском Союзе.

## VII

Накануне большевистской революции окончательно размежевались два течения русской интеллигенции, определились два типа русских интеллигентов. Наследники Пестеля, Чернышевского, народников-террористов, соратники Ленина, опираясь на западные, позитивистские учения, прежде всего на марксизм, освободились от груза интеллигентского морализма и превратились фактически в мафию, главной целью которой стала власть во имя утопического коммунистического эксперимента. Воплотившись в большевизм, это направление русской интеллигенции полностью утерало право

называться интеллигенцией, ибо даже у революционной интеллигенции предшествующей эпохи оставалось одно важнейшее звено, объединявшее ее с культурно-духовной русской интеллигенцией, а именно – примат морали над политическим действием, хотя бы в теории. Большевики полностью порвали с морально-гуманистическими основами русской интеллигенции и подчинили моральные принципы политическим задачам (“Нравственно то, что служит делу победы коммунизма”). В первом номере газеты киевской чека “Красный меч” было написано: “Нам всё разрешено, ибо мы первые в мире подняли меч... во имя раскрепощения и освобождения от гнета и рабства всех”<sup>1</sup>. В истории русской революционной интеллигенции есть лишь один документ – так называемый катехизис Нечаева, в котором мораль вседозволенности была бы так же четко сформулирована. Однако Нечаев не представлял какого-либо значительного большинства среди русских революционных интеллигентов, которые не считали, например, возможным убивать невинных во имя каких-либо идей. (Это не исключало того, что во время террористических актов случайно погибали прохожие.) Во всяком случае революционер Каляев не решился бросить бомбу в карету Великого князя, ибо рядом с “приговоренным к смерти эксплуататором” сидела его жена – Великая княгиня. Все эти церемонии были отвергнуты большевиками, руководители которых подчас называли себя пролетарской интеллигенцией в отличие от остальной – буржуазной интеллигенции. В действительности же, после прихода к власти большевиков в России осталась одна единственная интеллиген-

ция, та, что несла в себе наследственные свойства русской культурно-духовной интеллигенции.

С самых первых дней большевистской революции советская власть поставила задачу полной ликвидации сложившегося за два века русской истории "ордена" интеллигенции. Не без основания большевики считали несовместимой свою власть с существованием интеллигенции. Они призывали даже к уничтожению того интеллигента, который вроде бы с советской властью смирился. Так, в 1931 году в журнале "Звезда" была опубликована статья, в которой интеллигенция обвинялась в "валленродизме": "Как герой Мицкевича, одевший маску немца, чтобы спасти родину, так и буржуазная интеллигенция надела личину лояльности, чтобы предать пролетариат"<sup>2</sup>. Один из современных исследователей вообще определяет интеллигенцию, как "социальный класс, исчезнувший в хаосе большевистской революции"<sup>3</sup>.

По наблюдениям Зинаиды Гиппиус, после победы большевизма русская интеллигенция разделилась на "склонившихся" и "сдавшихся". Склонившиеся "с великим страданием, со стиснутыми зубами несут чугунный крест жизни. Они виноваты лишь в том, что они не герои, то есть герои, но не активные"<sup>4</sup>. А "сдавшиеся" — это те, которые пошли на службу режиму и таким образом как бы отказались от своего интеллигентского первородства. Интеллигент, по определению, не может сотрудничать с властью, не только претендующей на знание абсолютной истины, но с помощью органов насилия принуждающей людей служить этой "единствен-

но правильной научной теории большевиков". Тоталитарная власть – единственная форма власти, сотрудничество с которой интеллигента возможно лишь при одном условии – если он перестанет быть интеллигентом.

Советское общество, сложившееся в результате победы большевизма, структурно гораздо проще русского дореволюционного общества. До 1917 года в России было несколько классов (дворянство, торговая и промышленная буржуазия, рабочий класс, крестьянство, духовенство, интеллигенция, чиновничество), сословий (например, военное сословие), общественных групп, значительно различавшихся друг от друга образом жизни, кругом интересов, нравственными принципами. Революция часть этих классов просто ликвидировала, а другим оставила их названия, не отражающие их прежней сути. Можно говорить сейчас лишь о трех больших группах советского населения: номенклатура (власть), массы и интеллигенция. Интеллигенцией официальная советская идеология называет просто образованных людей, занимающихся умственным трудом. Вследствие такого определения в один слой – интеллигенции – попадают писатели А. Солженицын и Л. Брежнев, ученые А. Сахаров и Т. Лысенко. Г. Померанц делит образованный класс в СССР на три группы: "1) кадры, выросшие в государственный аппарат и болеющие за интересы этого аппарата как за самих себя (потому что они и есть государственный аппарат); 2) мещанство, более равнодушное к общим делам и болеющее скорее за свои мелкие делишки, а также за игрушки, которые ему дают: за "Динамо", за "Спартак", за наших советских космонавтов,

за наш национальный престиж...; 3) интеллигенция, болеющая за то, что не положено, что не подсказано газетой, радио, телевидением”<sup>5</sup>.

Итак, интеллигенцию уничтожить не удалось, она осталась, сохранив не только свой критицизм, но и ряд свойств, присущих русской культурно-духовной интеллигенции. Как не удалось большевикам искоренить религию, так не удалось им раздавить русскую интеллигенцию как некий ”орден”, ставший еще более тайным, чем прежде. Людей этого ”ордена” объединяет не единство положительных взглядов на политику, философию, историю, а установка на полное и безоговорочное отрицание тоталитаризма как общественной практики и образа мышления. Мироззрение каждого интеллигента столь отлично от мироззрения других интеллигентов, что когда спорят два интеллигента, то со стороны может показаться, что возникает из этого спора десяток мироззренческих концепций. Но споры эти – продолжение тех, которые русская интеллигенция вела в течение двух веков своего существования. Это чисто русское свойство – искать истину не в уединении, а в застольном споре, в курилке библиотеки, на пикнике в лесу – сыграло большую роль в регенерации интеллигенции как определенной общественной группы. Споры эти и раньше приводили к полному разрыву личных отношений даже между друзьями, если они придерживались разных точек зрения на самые абстрактные вопросы. А. Герцен вспоминал об интеллигенции 40-х годов прошлого века: ”Люди, любившие друг друга, расходились на целые недели, не согласившись в определении «перехватывающего духа», принимали за обиды

мнения об «абсолютной личности»<sup>6</sup>. Это свойство приобрело у советской интеллигенции еще более уродливые формы, и оппонента, иначе трактующего закономерности русского исторического развития, просто объявляют агентом КГБ (в худшем случае) или пьяницей, бабником и жуликом (в лучшем). Но без оппонента интеллигент существовать не может, и глядишь — злейшие враги опять сошлись и спорят — все о том же. Лишь поверхностному наблюдателю может показаться, что споры эти бесплодны, что спорщиков увлекает лишь сам процесс обмена аргументами или демонстрация своей эрудиции. На самом деле в этих спорах проявляется все то же неумное стремление русской интеллигенции к познанию истины и развитию своей духовной индивидуальности.

Далеко не всегда из этих бесед, споров возникает адекватный поступок. Более того, нередко в своей общественной практике человек, высказывавший в дружеском кругу весьма смелые мысли о свободе, чести, совести, ведет себя как верноподданный режима, который он подвергал сокрушительной критике на словах. Такого человека нельзя отнести к интеллигенции. Он более принадлежит к тому слою, который А. Солженицын удачно окрестил "образованщиной". Разумеется, быть интеллигентом в условиях тоталитарного режима несоизмеримо труднее, чем в демократических или даже авторитарных системах. Однако тип "образованца", так блестяще охарактеризованный Солженицыным, имелся и в дореволюционной России, но в условиях тоталитарного Советского Союза этот слой — "образованщина" — сильно разбух. В русской дореволюционной литературе

мы, однако, находим свидетельства о существовании "образованцев" и до 1917 года. Явно различали "образованцев" в кругах интеллигенции А. Чехов (см. рассказы "Маска", "Человек в футляре"), А. Куприн ("Молох") и другие писатели. Во всяком случае в "Человеке в футляре" мы находим два пассажа, которые могли бы быть написаны и советским бытописателем "образованщины" Юрием Трифоновым. Выслушав рассказ об унижениях, которые терпели учителя уездного города из-за страха перед доносчиком, врач Иван Иванович вздыхает: "Да. Мыслящие, порядочные, читают и Щедрина, и Тургенева, и разных там Боклей и прочее, а вот подчинились же, терпели..." А потом прибавил: "Видеть и слышать, как лгут... и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка...!" В сущности, образованец — это тот же мещанин, который в отличие от явного мещанина лишь держит кукиш в кармане.

Таким образом, современная русская интеллигенция имеет против себя гораздо более мощных и беспощадных противников, чем интеллигенция дореволюционная. Власть в союзе с мещанством давит интеллигенцию так, что ей и вздохнуть-то невозможно. По мнению А. Зиновьева и близкого к нему по взглядам Марка Дейча, власть и массы в СССР гораздо более едины, чем до революции. Дейч пишет: "...единство народа с партией, а значит с правительством — не выдумка, не лозунг, но

- реальность. Потому-то, думается мне, уповать на народ все равно, что уповать на правительство, а это, согласитесь, безнадежно"<sup>7</sup>. Это верно и неверно. Неверно потому, что народ испытывает страх перед властью, завидует образу жизни функционеров, подчас ненавидит отдельных представителей власти. Власть же совершенно безразлично относится к народным нуждам. Так что единство это достаточно сомнительно. Однако общее между властью и народом тот же Дейч отмечает достаточно убедительно: "Образование у тех и других примерно одинаковое: что в трамвае слышишь - "коммунизм", что со съездовской трибуны. И те, и другие шляпы одинаковые носят... Вкусы посущественнее тоже сходятся. И народ, и правительство любят выпить; и правительство и народ не любят жидов и интеллигенцию. А самое главное - и те, и другие терпеть не могут этих самых диссидентов"<sup>8</sup>.

Естественен вопрос, каким образом все же интеллигенция существует, причем члены этого ордена рекрутируются далеко не только из потомков старой интеллигенции. Благодаря развитию в СССР образования "орден" интеллигенции пополняется из самых разных слоев и национальных групп. Рабочий Марченко, генерал Григоренко, ученые Сахаров, Шмелев, священник Глеб Якунин, музыкант Ростропович, Лев Тимофеев и многие другие - все они воспитаны в условиях большевистской власти и во всех них без особого труда можно распознать черты русской интеллигенции. Что их объединяет? - спрашивает современный публицист и отвечает: "Прежде всего - сознание самодовлеющей ценности человеческой личности, признание за

человеком права иметь собственную точку зрения по любым проблемам, права на выбор – безразлично, информации ли, или кандидата "блока коммунистов и беспартийных". Эту общность можно определить ...одним словом – интеллигентность"<sup>9</sup>. А как эта общность сохранилась, на этот вопрос дает очень точный ответ эмигрантский философ Г. Федотов: "У новой интеллигенции, – писал он еще в 30-х годах, – есть могущественный союзник – русское прошлое"<sup>10</sup>. Это прошлое сохраняется как в виде преданий, так и (в гораздо большей степени) в книгах русских писателей-классиков. Пока в СССР не будут запрещены произведения Пушкина и Тютчева, Герцена и Тургенева, Толстого и Чехова, Достоевского и Щедрина, Булгакова, Платонова и Пастернака, у советской власти не будет гарантии, что интеллигенция – этот враждебный тоталитаризму слой, представляющий альтернативу коммунистическому сознанию и коммунистической морали, прекратит свое существование.

## ПРИМЕЧАНИЯ

### I

1. Г. Федотов, "Новый град", изд. Чехова, Нью-Йорк, 1952, стр. 10.

Далее: Г. Федотов.

2. Г. Померанц, "Неопубликованное", изд. "Посев", 1972, стр. 146.

Далее: Г. Померанц.

3. "Die russische Intelligentsia", herausgeben von R. Pipes W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1962, S. 15.

4. "Вехи", сборник статей о русской интеллигенции. М., 1909, стр. 25.

Далее: "Вехи".

5. Г. Померанц, стр. 151.
6. Н. Бердяев, "Самопознание", ИМКА-Пресс, 1983, стр. 182.
7. В. Белинский, Полн. собр. соч. Изд. Академии наук СССР, М., 1955, т. 9, стр. 435-436.
8. "Из-под глыб", сборник статей, ИМКА-Пресс, Париж, 1974, стр. 251.

## II

1. Ф. М. Достоевский, Письма под ред. А. Долинина, 1928-1959, т. I, стр. 142.
2. А. Герцен.
3. А. Чехов, Полн. собр. соч. и писем. М., 1976. Письма, т. 3, стр. 11.
4. З. Гиппиус, Петербургские дневники (1914-1919), изд. Орфей, 1982, стр. 3.  
Далее: З. Гиппиус.
5. А. Яacobсон, "Конец трагедии", изд. Чехова, 1973, стр. 219.
6. Б. Шрагин, "Противостояние духа", Лондон, 1977, стр. 216.
7. А. Н. Радищев, "Путешествие из Петербурга в Москву", М., 1938, стр. 142.
8. Г. Федотов, стр. 27.

## III

1. "Вежи", стр. 2.

## IV

1. А. Грибоедов, "Горе от ума", д. II, явл. 5.
2. А. Герцен, Соч. в 9 томах, ГИХЛ, 1956, т. 5, стр. 16-17.
3. Н. Бердяев.
4. "Вежи", стр. 178.
5. А. Пушкин, "Евгений Онегин", гл. II, XVI.
6. "Вежи", стр. 1.
7. Там же, стр. 163.
8. Г. Померанц, стр. 150.

## V

1. Г. Померанц.
2. А. Солженицын, "Красное колесо", узел I "Август Четырнадцатого", ИМКА-Пресс, Париж, 1983, стр. 227.

Далее: А. Солженицын, Август.

3. А. Чехов, Письма, М., 1976, т. 3, стр. 11.
4. В. Белинский, статьи о Пушкине.
5. Н. Некрасов, "Не говори, забыл он осторожность", 1874.
6. Ф. Достоевский, Полн. собр. соч. в 30 томах, изд. "Наука", 1982, т. 24, стр. 171.
7. А. Герцен, т. 3, стр. 355.
8. Там же, стр. 333.
9. Иванов-Разумник, "История русской общественной мысли", СПб, 1911, изд. Стасюлевича, т. 1, стр. 12.
10. И. Бунин, "Окаянные дни", изд. "Заря", Лондон, 1977, стр. 67.
11. Там же, стр. 58.
12. А. Пушкин, Собр. соч. в 10 томах, ГИХЛ, 1975, т. 5, стр. 344-345.
13. "Вехи", стр. 210.
14. А. Солженицын, "Август", стр. 493.

## VI

1. "Вехи", стр. 4.
2. А. Солженицын, "Август", стр. 382.
3. Лев Толстой, "Война и мир", т. 4, эпилог ч. I, гл. XIV.

## VII

1. "Белый архив" под ред. Я. Лисового, Париж, 1928, т. II, стр. 113.
2. Журнал "Звезда".
3. Д. Кончаловский, "Пути России", ИМКА-Пресс, Париж, 1969, стр. 105.
4. З. Гиппиус, стр. 16.
5. Г. Померанц, стр. 148.
6. А. Герцен, т. 5, стр. 15.
7. Журнал "22", Тель-Авив - Иерусалим, № 26, стр. 175.
8. Там же.
9. Там же.
10. Г. Федотов, Рождение элиты.



Роман РЕДЛИХ

## В поиске вполне иного

*(О философии Льва Шестова)*

”Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога”. Этой так просто выраженной и такой грозной мыслью кончается книга с названием ”Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше”. Автор книги — Лев Шестов. Книга вышла в 1900 году, в год смерти Владимира Соловьева. Через два года последовала книга ”Достоевский и Нитше (Философия трагедии)”, а еще через два года чисто философская работа ”Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления)”. С тех пор за Шестовым закрепилось прочное место в стане русских парадоксальных мыслителей, непреклонных врагов рационализма и позитивизма. Назовем хотя бы Константина Леонтьева, с одной стороны, и Николая Федорова, с другой.

Как и Леонтьев, Шестов был из тех, кто верил в Бога, но отрицал царство Божие на земле, а поэтому оба люто ненавидели тех, кто верил в земной рай и не верил в Бога. Для Леонтьева: ”Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи,

римляне вели пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник и бился под Арбеллами, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский или немецкий буржуа в безобразной комической одежде своей благодествовал бы индивидуально и коллективно на развалинах всего этого прошлого величия... Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал бы навеки". Леонтьев окончил свой век в Оптиной пустыни. Но в писаниях своих он историсоф и эстет.

Шестов — религиозный философ, и только религиозный философ. До перехода Александра через Граник и до благодушия французских и немецких буржуа ему нет дела. Но о знаменитом протестантском историке и богослове Гарнаке он отзывался так: "Он превосходно умеет рассказать и об Афанасии Великом, и о блаженном Августине, и о Лютере. И с убедительностью, которой позавидуют многие, показывает, что весь смысл истории христианства сводится к тому, что сейчас принято называть либерально-протестантским учением. Гегель мог бы торжествовать: лишний раз доказано, как дух познал себя на протяжении двух тысячелетий исторического развития. Все Тертуллианы, Амвросии, Иринеи, Августины, Пелагии, средневековые мистики, схоластики, даже сам Лютер существовали, мучились, искали только для того, чтобы ныне восторжествовала истина современного либерального протестантизма, ко-

торая в коротких словах определяется следующим образом: мы верим в Бога, отца всех живущих людей, через Иисуса возвестившего нам о прощении грехов. Причем Иисус, по учению Гарнака, отнюдь не может быть признан воплощением Бога. Иисус уже во времена Шлейермахера и особенно А. Ритшля считается таким же человеком, по своей сущности, как и остальные люди. Все евангельские чудеса, все события ветхозаветной истории, пророчества и предсказания подвергаются суду разума и, за отсутствием твердых доказательств, отвергаются как продукт фантазии, если и не нездоровой, то некультурной”.

Книга, из которой мы взяли эту цитату, озаглавлена Шестовым *“Sola fide”* (“Только верю”) и написана между 1911 и 1914 годами, а опубликована только в 1966 году, через 28 лет после смерти автора. Шестов мог и не знать Леонтьева, но цитировавшийся много раз русскими писателями всевозможнейших направлений отрывок из частного письма Берлинского, о котором, может быть, вспомнил и наш читатель, он знал наверняка. Именно с него он начинает свое предисловие к книге “Добро в учении гр. Толстого и Ф. Ницше”. Вот этот отрывок: “Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гар-

монии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии”.

Эти три отрывка роднит не единство мирозерцания или общность вкусов. “Неистовый Виссарион”, как ясно из всего его творчества, непоколебимо верил в светлое будущее и лишь ради обижаемых “малых сил” не соглашался принять приносимые во имя его жертвы. Устремленный к отвергающему всякую надежду на земное благоденствие византийскому идеалу Леонтьев не уставал проклинать “идею всечеловечества в смысле всеравенства, земной все-свободы, земного вседовольства” и предлагал “подморозить Россию”, чтобы не дать ей уподобиться мещанской Европе. Шестов же в поиске Бога протестовал против подмены Божьего суда суждениями человеческого разума, всемогущество которого он решительно отрицал. И несмотря на эти различия, общее для всех трех отрывков это доведенное почти до порога экзальтации характерное для русской мысли прошлого века жизнечувствие, которое подсказало Бердяеву его блестящее сравнение Гоголя, сжигающего второй том “Мертвых душ”, с Ботичелли, следующим за Савонаролой в отчаянном поиске правды, всей правды и только правды.

\* \* \*

Шестовский поиск Бога, стоящего выше страдания и выше добра, был начат еще в прошлом веке – до религиозно-философских собраний, до зарождения в салоне Мережковских так

называемого "нового религиозного сознания", до романтического богоискательства начала нашего века. В этом богоискательстве Шестов не принял участия не потому, что не знал о нем. Он знал о многом, но мало в чем принимал участие. Он был богоискателем не по моде, а по природе, взлет богоискательства в тогдашних салонах мало что мог ему дать и мало интересовал его. И занятия Ницше в его ранних работах не значат, что он был ницшеанцем. Толстой и Достоевский интересовали его гораздо больше, и Ницше он понимал очень по-своему, он видел у него тему иррационализма, которой и посвятил всю жизнь.

Современник Шестова С. Л. Франк пишет о нем в своей "Антологии русской философской мысли": "Шестов в своем роде сильный, но узкий мыслитель; он человек одной идеи. Он может почитаться одним из родоначальников того, что теперь называется экзистенциализмом, творившим задолго до того, как это направление возникло на Западе. Эта основная и единственная идея Шестова заключается в том, что истинно нужное и ценное для человека абсолютно иррационально, невыразимо в понятиях разума и морали, и что поэтому вера в общеобязательное научное знание и в добро, как в норму жизни, есть гибельное для истинной жизни грехопадение, вредное и по существу необоснованное суеверие. Это иррациональное существо жизни он иногда называет Богом и в этом смысле любит противопоставлять религию, как нечто насущно нужное человеку, гибельным и призрачным философским идолам добра и истины". И несколько ниже, на той же странице 157: "Трагизм человеческой жизни

для него остается и должен оставаться безысходным, и всякая попытка его преодоления бичуется, как нечестность и трусость мысли”.

Бердяев – тоже один из российских недругов академизма – пишет, что ”Лев Шестов был философом, который философствовал всем своим существом, для которого философия была не академической специальностью, а делом жизни и смерти”.

Мышление Шестова действительно не укладывается в рамки не только философского академизма, но и, казалось бы, логического развития истории философии от древних греков до наших дней, и прежде всего потому, что Шестов со страстью выступает как враг всякого рационализма. Вышеприведенный его отзыв о Гарнаке может служить этому свидетельством. Из напечатанной (в ”Sola fide”) только после смерти Шестова неоконченной статьи о Николае Федорове мы узнаем о его несомненном сочувствии этому удивительному ”иррациональному рационалисту”, сочувствии, вызванном, конечно, не лестными отзывами о Федорове Толстого, Достоевского и Владимира Соловьева, а скорее всего преклонением перед безумным бесстрашием федоровской жизни и мысли, тем, что по его словам ”Федоров был и в своем мышлении и своей жизни ”святым” – т. е. ценил то, чего люди не ценят, и думал о том, о чем люди никогда не думают”.

Поиск истинно сущего в сфере вполне иного (*totaliter aliter*), готовность, вслед за Тертуллианом, вырваться из оков ”*pudet, inertum, impossibile*” (постыдно, нелепо, невозможно) делает его непохожим, но и в непохожести духовным братом Федорова. По словам

Шестова, "из этого и родилась «Философия общего дела»". Федоров считает сущностью христианства догмат о троичности Божества. Смысл же учения о Троице он видит в нераздельности и неслиянности лиц, составляющих Троицу. Люди должны своей жизнью тоже осуществить идею неслиянности и нераздельности. Поэтому задача человечества - есть воскрешение умерших. Все должны думать обо всех, и, пока этого не будет, человечество не осуществит своего призвания на земле. Не нужно, как это теперь происходит, в похоти рожать новых людей, нужно в любви воскрешать умерших предков".

Шестов отлично понимает, что, в противоположность ему самому, "Федоров весь был проникнут верой во всепобеждающую силу знания и разума" и был убежден, что "Знание должно иметь великую практическую задачу, и эта задача сводится к воскрешению предков и будет тогда полностью осуществлена, когда люди, проникнутые идеей христианской Троицы... все свои силы отдадут на служение великому «общему делу»".

\* \* \*

Философия Шестова трудна, как труден всякий выход за пределы разума. Глубоко проник в нее, как нам кажется, автор "Истории русской философии" о. Василий Зеньковский. Он считает, что в противоположность многим философам Нового времени, мысль Шестова не антропоцентрична, а теоцентрична, что Шестову важен не человек, а Бог, причем Бог

живой, Бог Авраама и Иакова, Бог, стоящий над человеческой нравственностью, над законами разума, истины, добра и красоты. По Зеньковскому, "творческое ядро высказываний Шестова заключается в необыкновенно сильном переживании «инобытия» веры. Он не просто покинул берег знания и принципов разума, — он, стоя уже на другом берегу, ощутил с исключительной силой те новые возможности, которые открылись ему «на другом берегу». «Философия не должна быть наукой», — часто говорил Шестов (особенно нападая на известные горделивые притязания Гуссерля), — не в том смысле, что философия может позволить себе что угодно, а в том, что она, не отвергая условной ценности норм разума, должна вести нас за пределы сферы разумности, должна, следуя за верой, «научить нас жить в неизвестности». Шестов — против «разума», поскольку он ограничивает нас и оттесняет озарения веры, — но и он ждет философии, «исходящей из того, что Бог есть», а не занимающейся, как хотел того Вл. Соловьев, тем, чтобы «оправдать» (перед разумом) «веру отцов»".

В письме к своему другу Лазареву Шестов пишет: "Понять можно Пифагорову теорему, Менделеевскую периодическую систему, теорию Эйнштейна и даже любое философское построение. Ибо тут задача сводится к тому, чтобы неизвестное привести к известному. Но когда неизвестное хочет отстоять свою независимость и не дается в плен известному, — тогда ведь и задача меняется. Понимание оказывается ненужным, понять неизвестное тогда равносильно тому, чтобы потерять его. Я полагаю, что бесспорные научные объяснения в конце кон-

цов не приводят все-таки к пониманию... Ведь глухой может отлично постичь теорию звуковых волн, но он никогда не узнает, что такое звук”.

Здесь Шестов возвращается к известному кантовскому: ”что моя воля приводит в движение мою руку, мне нисколько не понятнее, чем если бы мне сказали, будто она способна задержать движение луны”.

Мышление Шестова экспрессионистично и эксцентрично. Его главная тема - критика рационализма, который он преследует от Фалеса до Спинозы. Он с исключительной смелостью берет под сомнение не только те или иные истины, но посягает на само понятие истины, стремясь вырваться из круга разумного истолкования мироздания. Подсбно тому, как современная физика вышла за рамки законов Ньютона и геометрии Птолемея, так он хотел бы вывести философию за рамки логического мышления. Не оспаривая действительности законов разума, он ищет выхода за пределы этих законов. Он ищет личного, действующего Бога, которому все возможно и который не подчинен диктатуре разума.

”Правдивый Спиноза, с неслыханной доселе силой и вдохновением, возвестил людям ложь”, - пишет Шестов в предисловии к книге ”На весах Иова” . - ”Правда, как я уже указывал, эта ложь не им была придумана. Она живет в мире с тех пор, как человеческая мысль стала добиваться господства ”знания” над жизнью. Если верить учебникам философии, это произошло в Европе за шесть веков до нашей эры, и отцом этой лжи был Фалес. Если верить Библии, это произошло много раньше, когда на

земле было всего два человека, и отцом этой лжи был не человек, а принявший образ змия диавол. Библии мы не верим: Спиноза открыл нам, что в Библии можно найти высокую и еще для нас годную мораль, но за истиной нужно идти в иные места. Но так или иначе, от Фалеса ли это идет или от диавола, факт остается неизменным: люди глубоко убеждены, люди считают это самоочевидной истиной, что они находятся во власти какой-то от века существующей бесплотной равнодушной силы, которой дано решать, и чему равняется сумма углов в треугольнике, и какая судьба ждет человека, народы и даже вселенную. Или, как выразился со свойственным ему загадочным и зловещим спокойствием все тот же Спиноза: разум и воля Бога имеет столько же общего с разумом и волей человека, сколько созвездие Пса со псом, лающим животным...”

Самое имя Спинозы олицетворяет для Шестова ненавистный ему рационализм. Говоря о Спинозе и его “Этике, доказанной геометрическим способом”, он пишет в том же предисловии: “Спинозовская формула Бог = природа = субстанция... обозначает только, что Бога нет. Это открытие Спинозы стало исходной точкой размышления философии Нового времени. Сколько бы теперь ни говорили о Боге, который жил в библейские времена, который создал небо и землю и человека, который любит и хочет, и волнуется, и раскаивается, и спорит с человеком, и даже иной раз уступает человеку в споре. Разум, все тот же разум, который властен над треугольниками и перпендикулярами, и который поэтому считает, что ему принадлежит суверенное право отличать истину от

лжи, разум, который ищет не лучшей, а истинной философии, — этот разум со свойственной ему самоуверенностью и недопускающим возражений тоном заявляет, что такой Бог не был бы всесовершенным и даже просто совершенным существом, а потому, стало быть, он вовсе и не Бог”.

Для Шестова Бог не есть триединство истины, добра и красоты. Он стоит над истиной, над добром и над красотой. Он суверенно владеет ими. Он творит чудеса и не обязан вести себя разумно. В “Апофеозе беспочвенности” Шестов утверждает, что “рационализм не может заглушить чувство, что последняя истина — по ту сторону разума”, что “в границах чистого разума можно построить науку, высокую мораль, даже религию, но нельзя найти Бога”. Шестов не хочет принять автономии и самозаконности разума, потому что такая самозаконность неизбежно превращается в диктатуру разума и оставляет человека беспомощным перед лицом жизни и смерти.

Шестов берет под сомнение, — и сомнение это философски вполне обоснованно, — веру человека в принудительную силу разумной истины, в силу человеческого умозрения. Умозрению Шестов противопоставляет откровение. Он исходит не из изучения внешней действительности, а из того, что непременно нужно знать человеку и что наука ему сказать не может. В книге “На весах Иова” он пишет: “Чем больше вы читаете исторических сочинений, тем основательнее вы забываете старую истину, что человек смертен. словно история ставит себе задачей так воссоздавать жизнь, как если бы люди никогда не умирали”.

Полемизируя с Бердяевым в статье "Гнозис и экзистенциальная философия", напечатанной в "Современных записках" (№ 63, 1938 г.) и включенной затем в сборник "Умозрение и откровение", Шестов утверждает, что бердяевская "парадоксальная этика", развернутая в книге "О назначении человека", не так уж парадоксальна и не перестает быть этикой, то есть сохраняет всю свою самозаконность и повелительность. По мнению Шестова, "об этике Бердяева можно сказать то же, что Дейсен, желая сблизить индусскую мысль с европейской, сказал об этике Канта: в ней человек, как «вещь в себе», диктует свои законы человеку эмпирическому", и несколько ниже метко указывает, что "сам Бердяев, несмотря на то, что он неустанно твердит о свободе и возмущается от всей души всякого рода «принуждениями», не может как без воздуха жить без слова «ты должен». Он говорит: «творческое напряжение есть нравственный императив и притом во всех сферах жизни». Или еще: «человек должен всегда поступать индивидуально и индивидуально разрешать нравственную задачу»". Шестов с основанием спрашивает: "Почему ты должен? От кого исходит распоряжение? Ясно, что этика оставляет за собой право решать, осуществил ли человек свой долг, был ли он «самим собой» в том смысле, в каком ей это желательно - и в первом случае хвалит, во втором - порицает его. Ганнибал был бесспорно самим собой, когда, после неслыханной по жестокости и бесчеловечности осады Сагунта, когда измученное население города сдалось на

милость победителя, отдал во власть своих свирепых солдат и город и жителей, хотя знал хорошо, что солдаты разрушат город и перебьют всех до одного человека: мужчин, женщин, стариков, младенцев. И Тит, так же поступивший с Иерусалимом, был самым собой”.

По мнению Шестова, ”«ты должен» сохраняет и у Бердяева ту же независимость и власть, какие присущи ему с древнейших времен у всех народов и которые были выдвинуты с такой решительностью Кантом в его «Критике практического разума»”.

Из той же полемики с Бердяевым мы узнаем, что для Шестова: ”Вера есть источник экзистенциальной философии именно постольку, поскольку она дерзает восставать против знания, ставить само знание под вопрос. Экзистенциальная философия есть философия *de profundis* (из глубины). Она не вопрошает, не допрашивает, а взывает, обогащая мышление совсем чуждым и непостижимым для философии умозрительной измерением. Она ждет ответа не от нашего разумения, не от видения, а от Бога. От Бога, для которого нет ничего невозможного, который держит в своих руках все истины, который властен и над настоящим, и над прошлым, и над будущим”.

Шестов повторяет за Достоевским: я не могу прошибить головой каменную стену, но значит ли это, что стена есть навек непреодолимое препятствие? Опыт и разумение отвечают на этот вопрос утвердительно. Но кто дал опыту и разумению право окончательного решения? Кто внушил нам уверенность, что наше знание, даже знание фактов, есть нечто окончательное и бесповоротное?

Шестов очень ясно видит, что современная философия избегает и чуждается метафизики познания. Познание и, главное, его принудительная сила, действительная по Аристотелю для любого мыслящего существа, и в самом деле представляется стоящей вне всяких сомнений и всяких проблем. Это безусловная и несомненная вера современного человека. В ней усумнился впервые основатель экзистенциальной философии Серен Кьеркегор, в ней сомневался Достоевский и ее всем своим философствованием снова и снова ставит под сомнение Шестов.

И, пусть мимоходом, но стоит отметить, что, указывая на относительность этой веры, он не ограничивается философскими соображениями, но не упускает возможностей показать, что эта вера — свойство именно нашей европейской культуры Нового времени, что в течение многих тысячелетий люди верили иначе. Для этого он не только ссылается на Библию и, вслед за Кьеркегором, на книгу Иова. Вслед за известным французским этнографом Леви-Брюлем, книгу которого о примитивной мифологии он рецензировал в бердяевском "Пути" (№ 50, 1936 г.), Шестов приводит слова австралийского шамана: "Вы хотите, чтобы сверхъестественное было понятным. Но мы мало этим озабочены. Мы не понимаем, но вполне удовлетворены". И подчеркивает, что, отнюдь не будучи лишены логики, первобытные люди просто не придавали значения логическим или физическим условиям возможности вещей, что первоначально люди были метафизиками в силу совершенно спонтанного движения, у них был

частный и, можно сказать, непрерывный опыт реальности, которая превосходит и господствует над обычными явлениями природы и постоянно в них вмешивается.

Наше современное понимание вечных начал, будь то вечные начала духа или вечные начала материи и законов ими управляющих, для Шестова отнюдь не вечно, больше того, ложно и несправедливо. Самое наше понимание справедливости представляется ему как принцип статический, а не творческий, его смысл в том, чтобы сковать творчество, придавить свободу.

”Основная черта жизни, — пишет Шестов, — есть дерзновение, вся жизнь есть творческое дерзновение и потому есть несводимая к готовому и понятному мистерия... Оглядываться и спрашивать разрешения у истины нужно лишь постольку, поскольку человек принадлежит к эмпирическому миру, в котором и в самом деле господствуют законы, нормы, правила... Но человек ищет свободы, он рвется к Божественному”.

По Шестову, мы напрасно воображаем, будто ”нравственные поучения и законы могут заменить Бога”. Именно в сфере этики, где как раз и начинается уклонение от свободы, и надо искать корень тех извращений в разуме, которые затмевают нам путь к подлинной реальности, закрывая его нескончаемыми ”необходимостями”. Для Шестова путь Откровения загораживают именно эти окаменевшие в своем безразличии истины разума.

Последняя и едва ли не лучшая книга Шестова "Афины и Иерусалим" вышла в немецком переводе уже в 1938 году, но в русском оригинале была напечатана только через тринадцать лет, в 1951 году, уже после смерти Шестова.

Книга хороша уже тем, что в самом заглавии символически отразилась единственная тема, над которой всю жизнь думал Шестов. Как подлинный философ он бился у порога тайны бытия. Но в противоположность огромному большинству философов он никогда не надеялся разгадать эту тайну. Напротив, все его творчество - протест против мнимого разгадывания. И мало кто, как Шестов, умел показать все бессилие человеческого разума. "Афины и Иерусалим" начинаются с этой всю жизнь владевшей им мысли:

"Мы живем, окруженные бесконечным множеством тайн. Но как ни загадочны окружающие бытие тайны, самое загадочное и тревожное, что тайна вообще существует, что мы как бы окончательно и навсегда отрезаны от истоков и начал жизни. Из всего, чему мы являемся свидетелями на земле, это явно самое нелепое и бессмысленное, самое страшное и почти противоестественное, неотразимо наводящее на мысль, что либо в самом мироздании не все благополучно, либо наши подходы к истине и предъявляемые к ней требования поражены в самом корне каким-то пороком. Как бы мы ни определяли истину, мы никогда не можем отречься от декартовского требования ясности и отчетливости. А тут вечная тайна, вечная непроницаемость, словно еще до сотворения мира кто-то раз навсегда решил закрыть человеку доступ

к тому, что ему нужнее и важнее всего. То, что мы считаем истиной, что мы добываем нашим мышлением, оказывается в каком-то смысле несоизмеримым не только с внешним миром, в который нас окунули с рождения, но и с нашими собственными внутренними переживаниями”.

Этими словами Шестов ставит действительно основной вопрос философии. В середине XX века он осмеливается снова спросить о начале начал, больше того, он осмеливается утверждать, что истины, добываемые нашим мышлением, несоизмеримы ни с внешним, ни с внутренним миром. Ибо знание, добываемое нашим мышлением, есть в своей декартовской ясности и отчетливости научное знание, заведомо неспособное охватить то, что открывается не мышлением, а любовью, ненавистью и верой. Мы все понимаем, что наука не может выразить то, что способно передать нам искусство. И не случайно свой творческий путь Шестов начал с книг о Шекспире, Толстом и Достоевском. Стихи Пушкина, романы-трагедии Достоевского, потрясающие видения Кафки непереводимы на язык науки. В них другая ясность и другая отчетливость. Они говорят нам о тайном, но не раскрывают тайн. Ибо тайна по природе понятия нераскрываема. Тайна не секрет, ее нельзя рассекретить. Тайна не то, что еще не познано, но непременно будет познано. Тайна нигде не прячется. Тайна со всех сторон окружает нас, открыто лежит перед нами. И мы можем созерцать ее во всей ее очевидной непостижимости, в красоте и безобразии, в добре и зле, и в правде истинной жизни, не укладывающейся в рамки научного обобщения.

Шестов отлично понимал значение наук. Он пишет: "У нас есть науки, если угодно, даже Наука, которая растет не по дням, а по часам. Мы знаем очень много и наше знание есть знание ясное и отчетливое. Наука с законной гордостью оглядывается на свои законные завоевания и имеет все права рассчитывать, что ее победоносного шествия никто не остановит. В огромном значении наук никто не сомневается и сомневаться не может. Воскресни теперь Аристотель и его ученик Александр Македонский, им бы показалось, что они попали в страну не людей, а богов: Аристотелю не хватило бы и десяти жизней, чтобы ознакомиться с накопившимися на земле после его смерти знаниями, а Александру, пожалуй, удалось бы полностью осуществить свою мечту о завоевании мира. Декартова ясность и отчетливость оправдали все возлагавшиеся на них надежды..."

"Но туман первозданной тайны, - продолжает Шестов, - не рассеялся. Скорее еще более сгустился. Платону вряд ли понадобилось бы хоть одно слово изменить в своей притче о пещере. Его тоска, его тревога, его предчувствия не нашли бы себе ответа в нашем знании. Мир в свете наших положительных наук остался для него, как и был, мрачным подземельем, а мы - связанными по рукам и ногам узниками, и ему пришлось бы вновь делать нечеловеческие усилия, чтобы словно в битве прорваться сквозь истины, создаваемые теми науками, которые "грезят о сущем, но которые наяву его видеть не могут". Короче, Аристотель благословил бы наше знание, Платон предал бы его проклятию. И, наоборот, наше время с распрос-

тертыми объятиями приняло бы Аристотеля и самым решительным образом отгородилось бы от Платона”.

Шестов имеет, конечно, в виду не коммунистические мечтания великого Платона, но его учение об идеях; не “Государство” и “Законы”, но, с одной стороны, “Парменид”, с другой — божественный “Пир”, этот образец лежащего вполне вне рамок науки, но тем не менее философски безупречного анализа феномена любви. Он имеет в виду символизм платоновской мысли, ее эмоциональное и волевое насыщение. Холодной объективности аристотелевой логики, ее принуждающей силе он противопоставляет то узнавание сердцем, ту интуицию любви, которой угадывается сущность предметов, не подчиненная ни закону тождества, ни закону противоречия, ни закону исключенного среднего.

Шестов несколько не оспаривает силу и плодотворность научных методов в деле установления фактов, но подчеркивает, что “даже ученому, не желающему философствовать, в последнем счете факты не нужны. Факты сами по себе ничего не дают и ничего не говорят. Настоящего эмпиризма среди людей науки никогда не было, как не было и настоящего материализма. Какой ученый станет изучать факты ради фактов? Кто станет присматриваться вот к этой, повисшей на телеграфной проволоке после дождя капле воды? Таких капель миллиарды, и они сами по себе никогда ученых не занимали и занимать не могут. Ученому нужно знать, что такое дождевая капля вообще или вода вообще... чтобы получить право судить обо всякой воде, которую ему

придется увидеть или не придется увидеть, которой никто никогда не видел и не увидит, даже о той, которая была на земле, когда в мире не было ни одного живого существа, обладающего сознанием, и даже вообще ни одного живого существа”.

Шестов на многих страницах и с драгоценными ссылками на мировых ученых и философов снова и снова показывает, что ”хочешь иметь прочно обоснованную науку, нужно отдать ее во власть необходимости, да еще признать эту власть изначальной, первоизданной, никогда не возникавшей и потому не подлежащей уничтожению, то есть наделить ее преимуществами и качествами, которые люди обыкновенно присваивают Верховному Существу. Это, как мы видели, и сделал Аристотель, который стало быть заслужил того, чтобы возвести его в сан папы или первосвященника всех живущих на земле научно мыслящих людей”.

\* \* \*

Шестовские ”Афины и Иерусалим” – новая форма критики чистого разума. Для Шестова Кант стоит в одном ряду со средневековыми схоластами. И признавая Дунса Скотта одним из гениальнейших мыслителей Средневековья, он осмеливается утверждать, что ему, ”как впоследствии Канту, и на ум не пришло искать в библейском сказании критику чистого разума, критику знания, приносимого чистым разумом. Может ли быть, чтобы знание вело к «смертию умрешь»?.. Кто решится принять такую критику? Достоевский на это решился. Но хотя

я уже неоднократно указывал на то, что «Записки из подполья» и «Сон смешного человека» впервые дали нам критику разума, все по-прежнему считают, что ее нужно искать у Канта».

Тот, кто воспринимает Достоевского не как бытописателя (не сумевшего подняться до мировоззрения революционных демократов), а как великого русского мыслителя, поймет, на что ссылается здесь Шестов: истина, которую ищет сердце, истина человеческого бытия, не в научном отвлечении и обобщении и не в регистрации объективной необходимости. Она в единичном отдельном, неповторимом, именно в том, что науку принципиально не интересует.

Шестов с иронией и скорбью не раз говорит о том, что через абсолютизирование истины в знании мы релятивируем бытие. Несоизмеримость знания с его подведением фактов под категории всеобщего и необходимого с реальностью отдельного индивидуального существования во всей его одноразовой неповторимости не уменьшает, конечно, практическую ценность науки (в ней Шестов никогда не сомневался), но ставит под вопрос способность чистого разума подступиться к подлинной реальности. "Как бы много мы ни постигали в науке, — утверждает Шестов, — нужно помнить, что истины наука нам дать не может, ибо она по природе своей не хочет и не может искать истины. Истина ведь в единичном, неповторяющемся, случайном, не поддающимся обобщению. Значит, власти, на которую претендует разум, у него нет".

Во введении к "Афинам и Иерусалиму" сказано, что "Все четыре части книги проникнуты

и одушевлены одной задачей: стряхнуть с себя власть бездушных и ко всему безразличных истин, в которые превратились плоды с запретного дерева. Всеобщность и необходимость, к которым так жадно стремились и которыми упивались философы, будят в нас величайшее подозрение: сквозь них просвечивает грозное «смертию умрешь» библейской критики разума”... ”Бог философов – будет ли он началом материальным или идеальным – несет в себе торжество принуждения, грубой силы. Оттого умозрение всегда так упорно отстаивало всеобщность и необходимость своих истин. Истина никого не минует, от истины никто не спасется: это, только это соблазняло философов... В Писании сказано: «будет тебе по твоей вере». Отважился ли бы когда-нибудь Лейбниц или какой хотите философ сказать: «будет тебе по твоей истине»? Такой истины Афины не выносили. Такая истина не принуждает, какая же она тогда истина? Может ли человеческий разум прельститься ею?”... ”Но Иерусалим только такой истины и держался. Принуждающие истины... общеобязательные истины не убеждают Иерусалим. Для него они «мерзость запустения». В пределах разума можно поэтому создать науку, высокую мораль, даже религию, но чтобы обрести Бога, нужно вырваться из чар разума с его физическими и моральными принуждениями и пойти к другому источнику. В Писании он называется загадочным словом «вера», тем измерением мышления, при котором истина радостно и безболезненно отдается в вечное и бесконтрольное распоряжение Бога: «да будет воля Твоя», воля Того, Кто в Свой черед безбоязненно и властно возвращает верующему

утраченную им силу: «все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите»».

...”И тут берет начало религиозная философия. Религиозная философия не есть разыскание предвечно сущего, неизменного строя и порядка бытия, не есть тоже постижение различия между добром и злом... Религиозная философия есть преодоление ложного страха пред ничем не ограниченной волей Творца”.

Вера эта, как и сам Бог, не обязана быть разумной. Шестов готов повторить за блаженным Августином “верую, ибо нелепо”, и повторяет за Тертуллианом сказанное о распятии и воскресении Христовом: “не стыдно, ибо постыдно; вполне достоверно, ибо нелепо; несомненно, ибо невозможно”. Библейская философия для Шестова “много глубже и проникновеннее современной философии и даже – скажу еще – сказание о грехопадении придумано не евреями, а досталось им одним из тех способов, о которых вы ничего не узнаете из новейших теорий познания”.

”Вера зовет, зовет все на свой суд”.

”Вера есть иное измерение мышления, открывающее путь к Творцу”.

”Вера есть непостижимая величайшая творческая сила, великий, даже величайший, ни с чем не сравнимый дар Божий”.

”О вере никак нельзя сказать, что она низший вид познания”.

\* \* \*

Примат веры, отличающий Шестова не только от Ницше, но и от Бердяева, а подавно от

современных ему российских богоискателей, поставил Шестова на совершенно особое место в философии. Не рядом с Гейдеггером и Ясперсом и подавно не рядом с Сартром и модными рассуждателями об абсурде, именующими себя экзистенциалистами, но рядом с Достоевским и Кьеркегором, с которым он познакомился уже за рубежом и о котором написал две статьи в "Умозрении и откровении".

О Шестове, как и о Бердяеве, нельзя сказать, что он создал философскую систему. И думается, что о. Василий Зеньковский ошибается, когда в своей "Истории русской философии" (стр. 328) утверждает, что "он создал прочную базу для системы (религиозной философии)". Из его глубокого и искреннего утверждения веры, как и из его порой чрезмерной, хоть в основе своей и справедливой критики возможностей разума, системы построить нельзя. Системы ведь заведомо ограничены пределами именно разумного познания.

Философия Льва Шестова не для всех и каждого. Она трудна. Но Декартова ясность и разумная принудительность Аристотеля и Спинозы и не была целью его философствования. Шестов знал, и в своей "Власти ключей" записал, что "нужно дерзновение, чтобы говорить о настоящем Боге, который в Священном Писании и в Символе Веры именуется "Творцом неба и земли". Это дерзновение у него было. Оно заставило его усомниться в самых основах нашего разумного мышления. Тот, кто хочет понять Шестова должен повторить это дерзновение.



## Книга, нужная многим

С тех самых пор как Россия, волею Петра Великого, вновь увидела себя в семье европейских народов, начинается и немецкое участие в русской культуре и русской цивилизации. Случилось, однако, так, что в оценке немецкого влияния, утвердившейся в России, раздражение и насмешка полностью преобладают над благодарностью. Выпускник русской советской школы вспомнит о борьбе Ломоносова с немецким засильем в Петербургской академии наук; вспомнит он немецкого инженера и немецкого булочника пушкинского Петербурга, Штольца Гончарова и Крафта Достоевского, может быть, и немецких хлеборобов Поволжья, насильственно выселенных Сталиным в глубинку, и всех их – с эмблемой более чем странной. Трудолюбие, педантичность, добропорядочность немца парадоксальным образом представляются нам его недостатками, живыми свидетельствами его ограниченности, смешными в соседстве с иррациональной, неконтролируемой и еще не полностью раскрывшей силу русской души.

К началу XX века немецкая тема уходит из русской жизни и русской литературы. Уже никто не сомневается, что может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонів российская земля рождать, – хотя, пожалуй, и изначально для подобных сомнений достаточных оснований не было. Немцы уходят потому, что не остается культурных лакун, чуждых местным уроженцам. Советское время вновь создает такие лакуны. И хотя теперь интерес к России таков, что заполнению этих лакун хотят способствовать и способствуют многие народы, но находится место и для сумрачного германского гения – первого, традиционного ментора русской культуры.

---

В. Казак. Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года. Пер. с нем. Елены Варгафтик и Игоря Бурхина. ОЛП, London, 1988.

В 1976 году штутгартское издательство Alfred Kröner Verlag выпустило в свет немецкий Энциклопедический словарь русской литературы с 1917 года, подготовленный кельнским профессором Вольфгангом Казаком. В 1986 году проф. В. Казак опубликовал дополнительный том своего Лексикона, а в 1988 вышло и русское издание этого словаря в переводе с немецкого Елены Варгафтик и Игоря Бурихина. Незачем говорить о полезности и своевременности такого издания. Всякое усилие, направленное на поддержание культурной преемственности, полезно (во всяком случае, до тех пор, пока человечество сохраняет свою гуманитарную природу); никогда это усилие не может быть несвоевременным, даже если и прежде в этом направлении было сделано много. В нашем же случае уместнее всего сказать сначала о нравственном значении этого чисто академического предприятия. Народ и культура, никогда не именовавшиеся в России братскими, приходят на помощь русской культуре в трудную для нее минуту, знаменуя общее для всех нас единение в человечестве.

Вольфганг Казак пишет в предисловии к своему "Словарю": "...на Западе есть труды по истории современной русской литературы, подробно рассматривающие отдельных писателей и отдельные произведения этих писателей, однако нет современных и обстоятельных справочных изданий. Потребности в таковых изданиях более всего отвечает в Советском Союзе Краткая литературная энциклопедия, однако первые тома ее вышли в свет уже 20 лет назад, а главное - это издание отличается политической односторонностью как в отборе рассматриваемых авторов, так и в освещении фактов". Кажется, что сейчас под этой выдержанной формулой подпишутся все: и недавние узники совести, ставшие писателями в заключении, и высочайшие работники культурного аппарата СССР, еще вчера прямо или косвенно участвовавшие в травле писателей. Но проблема, обозначенная Казаком, остается. Она не может быть решена в СССР и теперь, во времена неслыханной для советского режима свободы печати. В качестве причины достаточно было бы указать на традиционную инертность советской структуры, еще далеко не побежденную (как некоторые думают, и непобедимую). При более пристальном взглядывании приходится признать и то, что между так называемой гласностью (чи достижения, конечно, грандиозны, почти невероятны) и обыденной, давно привычной информационной свободой стран западной цивилизации, ограниченной лишь законом о диффамации, пролегает все та же пропасть. Пропасть

эта в том, что советский истеблишмент, равно политический и культурный, и в самых вольных своих мечтах не мыслит себя и своих соотечественников сообществом равных. Нет, для приобщившихся власти (славы) требуется там миллионная аудитория лишенных индивидуальности "простых людей", поклонников тех, кто волею судеб стали баловнями рампы. Феномен этот чисто локальный и, по-моему, недостаточно понятый; он часто ставит в анекдотическое положение советских писателей, эмигрировавших на Запад; к жизни обычных, рядовых людей они оказываются неготовыми. Он же — источник предубеждений и предвзятостей, которые едва ли сумеют преодолеть в СССР при составлении нового справочного издания о писателях, — если таковое будет предпринято.

Итак, перед нами по меньшей мере полезная книга, к тому же подготовленная с любовью и тщательностью; книга, нужная многим. Величайшим ее достоинством является независимость, самостоятельность ее составителя. Казак видит русскую литературу со стороны, и уже поэтому замечает то, что незаметно изнутри. Он — в этом невозможно усомниться — в самом деле внимательно прочел каждого автора, о котором пишет, и о многих сказал так, как мы бы сказать не смогли. Статьи (адресованные, вообще говоря, не русскому читателю) имеют целью дать представление о предмете и тому, кто знакомится с ним впервые, и, одновременно, сообщить что-то новое, напомнить детали тому, кто с вопросом в той или иной мере знаком.

В "Словаре" 619 биографических статей. Как и положено в справочнике, Соколов-Микитов соседствует здесь с Солженицыным, Новиков-Прибой — с Новгород-Северским, Алешковский — с Алигер. В предметных статьях (их 87) — московский "Новый мир" следует сразу за нью-йоркским "Новым журналом", орган СП РСФСР "Москва" и издание ЦОПЭ (т. е. Центрального объединения политических эмигрантов из СССР) "Мосты" — тоже рядом. Для критически настроенного ума эти соответствия естественны, ожидаемы. Факты мы уважаем. Сложнее обстоит дело с явлениями, поэтому статьи "Космополитизм", "Оттепель", "Реабилитация", "Самиздат", "Тамиздат", "Цензура", "Эмиграция", — тоже, конечно, ожидаемые, — все-таки несколько странны для нас под академической обложкой, отдают публицистикой. Но можно ли было без них обойтись? Можно ли было сомневаться, что рано или поздно они появятся в справочнике о писателях? И вот они появились, пока — в Германии.

Язык советских справочников сух и полон эвфе-

мизмов, о многих вещах не принято в СССР говорить прямо, о других – не говорят вообще. В результате лишь литературоведы и книгочеи знают, что, например, мать М. Цветаевой – “немецко-польского происхождения, пианистка, ученица А. Рубинштейна”, или что у А. Блока “один из предков – немецкий дворянин из Мекленбурга, лейб-врач императрицы Елизаветы”, а сам Блок любил Германию. Тому, кто вырос в Советской России, не придет в голову мимоходом сопоставить Бабеля с Чеховым, как это делает Казак: “В отличие от рассказов Чехова рассказы Б. насыщены динамизмом и действием”, – между тем сопоставление это возможно, и небесполезно. Об Александре Зиновьеве Казак, со ссылкой на самого писателя, сообщает, что он (Зиновьев) “может писать по двадцать часов подряд и никогда не перерабатывает свои произведения”; о Юрии Мамлееве – что его “мучительная проза” “при перечитывании иногда ужасает и самого писателя”, “устремления” которого, однако же, “позитивны”. Эти интересные наблюдения никогда не попали бы на страницы справочника советской школы.

Статьям “Словаря” присуща отчетливая и непосредственная аксиология. По мнению Казака, Блок – “величайший поэт России из времени символизма” (здесь отметим попутно не совсем правильное русское звучание этой фразы), стихи Блока “обладают исключительной силой внушения”, а его “отход от силлаботоники к чисто тоническому стихосложению оказал длительное влияние на последующую русскую поэзию”, – нас, стало быть, вводят в самую сердцевину продолжающегося спора о путях русской поэзии. Лирика поэтессы Беллы Ахмадулиной – “аполитичная и удивительно совершенная”. “Национальный и нравоучительный пафос” поэта Сергея Васильева “отличается пустотой”. Режиссер Ю. Любимов “создал потрясающий спектакль”. Поэт Николай Браун “находился под влиянием Пастернака, Мандельштама и Тихонова... никогда не достигая совершенства тех, кому подражал”. Об Александре Зиновьеве казак пишет: “Многочисленные непристойности в тексте действуют отталкивающе”\*. Вообще, Казак решительно возражает

---

\* Замечание это столь же справедливо, сколь и рискованно: к сожалению, понимания у нас оно не встретит. Современный русский писатель часто ведет себя как вольноотпущенник, не знающий, что свобода – это ответственность, и упивается матом и физиологией. Массовый читатель следует за ним. Как “дерзающий

многочисленным ценителям Зиновьева: все вещи Зиновьева "написаны в совершенно однообразной (часто требующей комментариев) форме... и лишены художественных достоинств".

Русскую литературу Казак понимает как живой процесс, а свою работу – как полемическое вторжение в него. Достоинства такого подхода очевидны. Не будучи абсолютно новым (аксиология присутствует во всех справочниках), подход этот имеет всю прелесть воодушевляющей новизны; никогда в России он не был заявлен с такой определенностью. Недостаток подхода тоже очень нагляден: сыграв свою будоражащую и, безусловно, положительную роль, Справочник рискует быстро устареть. Пристальное внимание к текущим литературным событиям, с их неизбежной борьбой школ и честолюбий, не может не приводить к ошибкам. Не выискивая очевидных промахов, отмечу лишь бросившееся в глаза, – притом в первую очередь, то, что все еще находится на острие спора. В этом я следую манере самого Казака.

Как уже отмечено, в "Словаре" сведены под одной обложкой авторы, известные по советским и зарубежным публикациям, а также по самиздату. Незачем говорить, что в этом – одно из бесспорных достоинств книги. "Словарь, – пишет Казак, – подтверждает наличие единства современной русской литературы". Но перед нами – едва ли не первый опыт такого рода, и тут несбалансированности не избежать. Существует тенденция (часто – подсознательная, питаемая личной обидой) принижать тех, кто не вступил в открытый конфликт с властью, и превозносить тех, кого власть гонит. Станным образом она сказалась и у Казака, хотя он и не внутри наших дел и даже по видимости противится этому поветрию. Вот пример. В статье об Александре Кушнере читаем: "Поэзия К. относится к разряду серьезной, философской лирики, характерной для творчества Шефнера, Тарковского, Ваншенкина, Винокурова и др. ...Стихам К. свойственна скромность выразительных средств...". Мне этот словесный ряд

---

буржуа" эпохи раннего модернизма, современный обыватель полагает, что смелость – первое качество писателя и состоит она в разнузданности. Имеется целая философия на этот счет: "мат существует", говорят нам, "значит он должен быть и в литературе". Но ведь и наркотики существуют, однако мы понимаем людей, испытывающих к ним отвращение.

кажется в высшей степени опрометчивым. Я не шутя считаю Винокурова хорошим, а Вадима Шефнера – даже прекрасным поэтом, – но видеть в близком соседстве с ними Тарковского и Кушнера мне обидно. По-моему (и я в этом мнении не одинок), Кушнер и Тарковский – поэта п е р в о г о р я д а, их масштаб и значение в русской поэзии заданы именами Тютчева, Анненского, Пастернака. Что до "скромности выразительных средств" Кушнера, то правда здесь в том, что полная и сознательная отрешенность от публичных дурачеств, от дешевой чувственности делает его стихи приглушенными, доступными лишь для читателя с воспитанным и выверенным литературным вкусом. О Кушнере в последние годы неоднократно писали, что его язык – одна из вершин современного осмысления русской художественной речи. Незаурядное мастерство Кушнера признают теперь даже его эстетические противники. Однако Кушнер, никогда не бывший в прямой опале, номинально является советским поэтом, – и этим скрадывается его истинное место в современном литературном ландшафте. При всей его самостоятельности, здесь Казак следует общему шаблону, – ошибка, вполне извинительная лишь для иноязычного исследователя.

Другой пример дает статья о Геннадии Айги. Казак разворачивает перед нами жизнь этого неудачливого автора, которого, по сообщению Казака, М. Светлов считал одним из самых с в о е н р а в н ы х своих учеников. Неуживчивость Айги, его протест против советского ханжества – более чем понятны и вполне почетны. Айги подвергался преследованиям, начиная с 1958, т. е. уже в возрасте 24 лет. "Более двадцати лет в СССР не печатали ни одного сборника стихов А. на русском языке", пишет Казак, – и это, конечно, безобразно. Но я убежден, что как раз гонения и сообщили стихам Айги всю их привлекательность. Стихи эти, полагает К. Dedecius (его цитирует Казак), – "феномен крайнего нонконформизма", "возрождение сентиментальности, которая являет собой непритязательный протест против безоговорочного культа матери и массы, царящего лишь в силу инерции". По моему убеждению, предложенная характеристика (безотносительно к вопросу о том, кому она адресована) – пример высокопарного словоблудия, типичное высказывание человека, не привыкшего критически взвешивать свои слова. "Безоговорочный культ матери и массы" – выдумка пресыщенных эстетов, культа этого нет, – а если бы он и был, в с я к о е искусство противостояло бы ему в меру своей подлинности. Что же касается стихов са-

мого Айги, то другое распространенное отношение к ним, которого Казак не приводит, состоит в том, что они представляют собою отдаленные задворки современной литературы, энтропийную вакханалию в духе А. Е. Анаевского (1788–1868) (с его знаменитой "розой на зердутовых крылах"), стоят за чертой всякой художественности. Неправда и то, что они – неконформистские стихи. Как раз наоборот: что было плодотворным неконформизмом в эпоху Хлебникова, на заре русского модернизма, стало пошлым и расхожим конформизмом в переживаемую нами эпоху постмодернизма, приспособленчеством к самому низкому образцу общественного вкуса. Несомненный житейский неконформизм Айги, его человеческая доблесть (этих качеств никто не оспаривает), – механически спроецированы в его сочинения. Лишь в силу инерции мысли (если уж воспользоваться формулой из вышеприведенной цитаты) такая точка зрения на стихи Айги находит еще сторонников.

Затем, далеко не безобиден и вопрос, хорош ли вообще "крайний неконформизм". Если, следуя данному нам примеру, мы и здесь спроецируем общественные представления в эстетику, то поэта крайнего неконформизма нам придется уподобить бандиту, из-за нескольких долларов убивающему старика-пенсионера. Неконформизм хорош, если он дозирован, да и то не всегда; в своей же крайности, в своей логической полноте он есть лишь отказ считаться с чувствами других, отрицание этих чувств, – и тогда спрашивается: кто такой художник и зачем он? Чудаки, выставяющие неконформизм как безусловное достоинство, исходят из того, что погоня за оригинальностью – первая цель искусства, между тем ее вовсе нет в списке качеств настоящего мастера. Талант есть дар приводить в соответствие категории *Я* и *Мы*, уравнивать их, а это невозможно без известной доли конформизма. Гёте и (даже) Эллиот считали, что истинная оригинальность возможна лишь в русле традиции. В политике, если приглядеться, из неконформизма выросли коммунизм и фашизм. В искусстве дело так далеко не зашло и теперь уже не зайдет, и с уверенностью можно сказать, что поэты типа Айги останутся в кунсткамере словесности. Серьезному читателю они не нужны.

Первый вопрос литературоведения – что считать литературой – с необычайной силой обнажается в книге Казака. Составитель прав, не отменяя с порога всех, даже скомпрометированных сверх обычного, советских авторов, не списывая всю советскую литературу в му-

сорную корзину, - а ведь это искушение многих. С другой стороны, подробная статья о Л. И. Брежневе как о писателе вряд ли нужна даже в самом обстоятельном справочнике. Нам, хорошо помнящим покойного генсека, не кажется вероятным, что этот лауреат Ленинской премии по литературе сам писал свои сочинения. Если он вообще причастен к трудам, подписанным его именем, то скорее всего он наговаривал их на магнитофон, а затем эту "рыбу" обрабатывали профессионалы. Между тем истинный писатель именно сам водит пером по бумаге - и оттого идолопоклонствует перед каждой своей фразой, каждой запятой своего сочинения, а вторжения в свой текст переживает как трагедию, - все это и делает его писателем. Мы, повторяю, не верим, что Брежнев в последние годы своей жизни был способен написать сколько-нибудь связный и протяженный текст, - но пусть это ошибка, и сочинения Брежнева принадлежат Брежневу. Сам Казак уверенно определяет их как "труд, не имеющий никакого литературного значения". Тогда возникает вопрос: зачем труд этот причислен к литературе, а Брежнев - к писателям? Ведь не ради же педантичности и полноты? Конечно, в многотомной энциклопедии Южакова имеется короткая статья о том же Анаевском, - но не как о писателе, а как о курьезе, о случае литературного помешательства. В отличие от энциклопедии Южакова справочник Казака посвящен единственно литературе. Брежнев оказался здесь на одном развороте с Бродским - не задевает ли такое соседство нашего знаменитого поэта?

Вообще, какова цель справочников о писателях? Мне кажется, основная идея таких изданий - оставить потомкам некоторое пространство для переосмыслений. Современники не всегда справедливы в приговорах писателям, а более догадливые потомки часто не находят элементарных сведений о тех, кто сделался национальной гордостью. Сомневается ли Казак в своей оценке? Допускает ли, что в XXI веке Брежнева прочтут заново и отведут ему место по соседству с Шекспиром? Если да, приговор Брежневу не должен быть столь категоричен.

Замечу здесь, что в СССР сейчас собирают стихи двух других генсеков: Сталина (писавшего по-грузински и, говорят, входившего в антологии, составленные не по указке) и Андропова. Эта работа не кажется мне бессмысленной, оба писали сами и лишь до своего политического возвышения, а возвысившись, на Парнас не посягали. Их стихи что-то объяснят нам в характерах вождей, но все же место этим своеобразным людям - в

политических, а не в литературных энциклопедиях. Они интересны нам, но в другом качестве.

При отборе авторов, активно работающих сегодня, исследователь вступает на самую зыбкую почву. Советские справочники в этом вопросе малодушно осторожничают. Казак, наоборот, смело подставляет себя под копыта критики и, судя по всему, готов, с присущей ему независимостью, нести ответственность за своих кандидатов. В провозглашении новых имен — едва ли не основной пафос его книги. Что критика обещает тут быть немилосердной — тому залогом свирепая (все та же из века в век, хоть и кажется, что свирепей не было) игра честолюбий в литературе. Тут потесниться не хотят, а если хотят, то лишь в пользу своих. Включаясь в эту критику и предъявляя Казаку мой иск, я, однако же, оговариваю следующее. Во-первых, при пропуске нескольких имен и наличии сомнительных выдвинутых, картина, созданная Казаком, в целом кажется мне верной; находясь в стороне от наших распрей, Казак запечатлел ситуацию лучше, чем сделал бы это кто-либо из русских, и не хуже, чем любой из его западных коллег. Во-вторых, ошибка в таком отборе не есть в собственном смысле слова ошибка: не ошибаться тут нельзя; пропуск такого или иного имени — не недостаток; поэтому и мой список — не в упрек Казаку и, тем более, не предписание ему. Я называю нескольких авторов, прекрасно сознавая, что втрое большее число пропущено мною по близорукости.

По моему убеждению, нужны статьи об эмигрантских прозаиках Борисе Хазанове и Олеге Кустареве; о живущих за рубежом поэтах Бахыте Кенжееве, Рине Левинзон, Лье Лосеве; о ленинградских поэтах Елене Игнатовой, Наталье Карповой (член СП), (покойном) Александре Мореве, (покойном) Роальде Мандельштаме, Раисе Вдовиной (член СП), Сергее Стратановском, Ольге Бешенковской, Нонне Слепаковой (член СП); о московских поэтах — Ольге Седаковой, Евгении Рейне, Александре Сопровском, Анатолии Наймане. Литературная ситуация требует статей о поэте Красовицком, Еремине, Уфлянде, Охаккине, Кривулине, Кузьминском, покойных Кари Унковой и Леониде Аронзоне... Какое бы отношение к этой выборке у читателя ни возникло, он согласится со мной, что сведения о перечисленных важнее для нас, чем информация о Брежневe.

В основу языка справочника положена несколько улучшенная советская норма. Язык, в целом, хорош, но придиричивый читатель все же не однажды посетует на переводчиков. М. И. Закревская-Бенкендорф-Будберг

"вела двойную игру в качестве агента" - кого? дополнение отсутствует; реальным впечатлениям противопоставлены - "привиденные"; поэт ищет "приемы очуждения"; одному писателю свойственен "самопоказ", другому - "сознательное отношение к форме"; отцом писателя был "административный служащий", и т. п. Но таких оплошностей не слишком много, и значения Справочника (в котором, заметим, 922 страницы) они не умаляют.

Вообще, значение книги далеко не исчерпывается набором интересных, важных и совершенно необходимых для многих сведений. Значение работы В. Казака в том, что она возвращает нам чувство времени, утраченное не по нашей вине, а нас - возвращает в контекст современности. В этом смысле, а также и потому, что Справочник прокладывает дорогу советским (русским?) изданиям такого рода, - он принадлежит будущему. Хотелось бы думать, что наши предвзятости, традиционные и новые, не помешают нам оценить этот труд по достоинству.

*Юрий Колкер*

## Что за наследство?

23 ноября 1986 года в Москве скончался писатель Владимир Кормер. В начале 80-х годов КГБ изъял его архив, где была и рукопись романа "Наследство". В СССР не было опубликовано ни слова из сочинений Кормера, а роман этот вышел в издательстве "Посев". И вот теперь готовится на родине издание "Наследства", в котором речь идет об эмиграции внутренней и внешней и о печальном наследстве, дарованном нам всей старушкой-историей российской. Но... что же это за, в сущности, наследство? И - оставляет ли там, на родине, кто-нибудь те причины, которые его вынудили бежать из внутренней категории во внешнюю?.. И что оно сегодня за проценты приносит, это наследство?..

---

В. Кормер. Наследство. "Посев", Ф/М, 1987.

В центре сюжета романа Кормера стоит реальное достояние, деньги, оставленные представителем первой эмиграции – участнице третьей, в рамках романа – внутренней. Деньги и должны служить мостом между волнами исхода. Сложная коллизия выстраивается на вполне реальной почве, богатстве, которое кинулись схватить и поделить герои. Но поскольку наследство существует где-то там, за занавесом, то оно призрачно. И потому выявляются совсем иные причины единства кружка, занятого его делением. Наследство тоже становится иным, не материальным, духовным. И среди наследников оказывается сам автор, Владимир Кормер. Он родился в 1939 году, закончил мехмат МИФИ, работал в журнале "Вопросы философии", то есть был профессионалом в мышлении. Литературная же жизнь его протекала в отторженном от этого фасада мирке, среди таких же отторженных единомышленников. Вместе с тем роман его "Крот истории" был издан в далеком Париже и получил премию имени Даля. Таким образом Кормер сам оказался на мосту, который в его романе "Наследство" перекинулся от европейской эмиграции первой волны к среде, питающей волну третью: современной московской интеллигенции. Одна из линий романа – история о том, как его герой, Вирхов, пишет книгу, в которой можно угадать черты самого романа Кормера, из-за чего его следует признать в основе документальным. Живя в кругу романских персонажей, Вирхов и Кормер пишут историю, исследование жизни этого круга. Можно почти с уверенностью предположить, что все герои романа имеют реальный прототип. Более того: многие из них живут – интересно, как? – и сейчас. Предстоящий теперь читатель их станет узнавать, узнавать своих знакомых в персонажах романа. И себя самого. Читатель узнает их тайную, скрытую до тех пор от публики, жизнь. Игра в угадку – кто есть кто – развернется после публикации романа в России в описанной Кормером среде: среде московской оппозиционной интеллигенции.

Я не стану заниматься сейчас этой угадкой, без меня найдутся охотники. И все же об одном персонаже хочется сказать и мне. Хочется угадать его подлинное происхождение. Речь идет о третьестепенной фигуре книги, о редакторе парижского эмигрантского журнала Кондакове. Бухну сразу: мне кажется, что его прототип – Петр Струве, фигура, известная всякому, кто проходил хоть и краткий, но курс истории партии. Замечательно выписанный Кормером: полно омысленный и компактный, образ этот становится первостепенным.

Глава о нем – это вставной очерк. Очерк о профессиональном политическом деятеле, об идеальном – как это представляет Кормер – политике. Редактор Кондаков, или Петр Струве, это антитеза, и не только антитеза революционному движению в России, но и антитеза оппозиционной ему первой эмиграции, да и антитеза современной оппозиции – тоже. А может быть, и русской оппозиции вообще. Ибо профессионал Кондаков верно прозревает в ней гибельную основу: упорный дилетантизм. И безответственность. Дилетантизм в мыслях, в политике, в жизни души. В том же Кормер подозревает и среду, в которой обретается он сам: либеральную московскую интеллигенцию, как бы предвкусывая ее роль в будущей гласности. Он подозревает ее в носительстве деструктивного начала, что для профессионала-строителя трагично, ибо он должен опираться в своих действиях именно на эту среду. Другой нет. Разрыв, таким образом, между профессионалом Кормером и его средой, между Кондаковым и его средой, трагичен, как разрыв между действительностью и мыслью. И потому Кондаков проникается презрением к кругу, породившему его, к целому человечеству дилетантов, да и к той половинке собственной души, которая вынуждена жить с этим человечеством. Кормер успевает разделить Кондакова на две фигуры – дневную и ночную – согласно этим половинкам. Разрыв души профессионала с дилетантским миром достигает уровня очевидности, требующей, чтобы об этом писали, кричали, вопияли! И Кормер, списавший этот разрыв с себя, вопиет об этом. Может быть, он и умер от этого разрыва души... И дилетанты вокруг Кондакова смерти его и дожидаются: в книге он представлен лежащим на смертном одре. Куда лег вскорости и сам автор книги.

Казалось бы, столь семейные истоки романа должны обресть его на вопияние в пустоте, на предназначенность для той же семьи. Не шире. Интересно, что этого не случилось. Отталкиваясь от, в сущности, семейного дела, от, по существу, пустоты, Кормер, извернувшись удивительным кульбитом, получает картину почти пророческую. Картину будущего, для нас уже настоящего. Картину теперешнего уникального периода истории, для Кормера прежде всего характеризующегося выковышиванием в этой среде, рождением в России, синтезированием нового вида идеологии. Одним из кузнецов которой был, разумеется, и сам Кормер. И, кажется, мы все. Эта идеология реально синтетична, в ней есть место для всех богов – от мясоеда Перуна до травоядного Будды, от махатмы Ленина до Блаватской, где на

знамени прекрасно сочетаются звезды, полумесяц и рублевский лик Христа. Где символ веры научно обоснован и выражен либерально-фантастическим жаргоном дилетантов, жаргоном, который и вырабатывается сейчас на страницах передовых журналов. Где мы видим восхитительный симбиоз оппозиции и власти, государства и личности, агнцев и львов, лежащих мирно рядышком по принципу: *мертвая собака заведомо хуже живой*. А носители этой идеологии – персонажи романа Кормера – полусвященники-полупреступники вовсе не тени из книжки, а живые люди с паспортными именами. Что ж думает о них сам Кормер? Чем кончается его собственный разрыв души? В миру – смертью, а в книге – подобно судьбе другого персонажа, Мелика: он превращается. Мелик превращается в священника, а Кормер – в любовь. Да, от презрения и ненависти профессионала к дилетантам – к любви. Таков путь самого Кормера в его книге. Он любит героев своей книги. Ибо все они – он. И живая собака действительно лучше мертвой. Он любит их: гадких, слабых, знающих-незнающих, умеющих-неумеющих. Любит он и помесь агнца-со-львом, чудовищного своего героя Мелика, который одновременно был раздавлен электричкой и выпущен служить литургию. Такова эта его любимая двусмысленная реальность-нереальность...

Ну да, реальность всегда двусмысленна. Но в последней сцене романа, во время литургии, на которой собрались все его герои, на последнем пиру во время оно – что за жуткое ликование со слезами охватывает всех? Что за жуткое возбуждение, и что за действие разыгрывается там? На церковно-кремлевско-лубянском дворе, так пророчески угаданном Кормером за десяток лет до?.. Я тоже думаю: не странно ли такое всеобщее ликование на одном пиру собак мертвых и живых.

*Виктор Борисов*

## Заметки при чтении

"Черные камни" повествуют нам не о безвинных жертвах сталинских репрессий. Карающий меч обрушен на молодые головы, в романтическом порыве объединившиеся для *сознательной* борьбы с "обожествлением Сталина".

О судьбе своей они догадывались, потому и прятали свою деятельность в тщательно продуманную систему подпольных пятерок (вспомним молодежь Краснодона!). Уже зная, что арест их неминуем, они продолжали расширять свою организацию (Коммунистическую партию молодежи): "КПМ должна жить в глубоком подполье до самого ареста, она должна будет жить и в тюрьмах, и в лагерях, она должна будет жить и после освобождения" ("Знамя", № 7, стр. 32).

В нашей литературе такая тема прозвучала впервые.

Однако на истории КПМ останавливаться я не буду. Ограничусь небольшими замечаниями.

Мне кажется, что о деятельности КПМ говорится в несколько возбужденном тоне. Не чувствуется достаточной дистанции между наивностью молодости и зрелостью опыта.

Уже при самом зарождении КПМ ее организаторами слишком много было допущено легкомыслия, безответственности, игрового начала, чтобы это могло позволить вылиться деятельности КПМ во что-то серьезное.

Так что нет никаких оснований считать КПМ таким уникальным явлением, как это признается в повести.

Надо сказать, что организации молодежи с тем или иным неприятием сталинизма возникали не только в "послевоенные годы", но и до войны, и во время войны. Когда-нибудь история, будем надеяться, нарисует картину сопротивления.

Основная тема моих заметок - это описание А. Жигулиным лагерной жизни.

Лагерная тема, еще недавно бывшая запретной, теперь переживает эйфорию гласности. И литература уже успела выработать шаблон, который оказался нормативным для многих лагерных воспоминаний, где нам стараются показать как можно больше ужасов, нарисовать чудовищный ад сталинизма, обрекавший миллионы на

---

А. Жигулин. Черные камни. Автобиографическая повесть. Журнал "Знамя", №№ 7, 8, 1988.

неминуемую смерть. Правомочность такого описания в оспаривании не нуждается. Но ведь рассказы эти создаются людьми, которым удалось через круги этого ада пройти многие и многие годы... и выжить. "Я чудом остался жив", - вот обычная присказка.

Если говорить об ужасах, то, я думаю, самым впечатляющим был бы язык цифр: столько-то было арестовано, столько-то расстреляно, столько-то погибло от холода, голода, непосильного труда и болезней... и столько-то выжило.

Мне лично от лагерных мемуаров хочется в первую очередь ответа именно на этот вопрос: как же тебе удалось выжить. Надеюсь, что вскоре этого захочется и всем читателям, которые к тому времени пресытятся романтизацией страха.

Мы должны разобраться в прошлом. Мы должны переписать историю, которую деформировали. Мы должны п е р е п и с а т ь свое сознание, в которое вдалбливали эту деформированную историю. Но это под силу только п р а в д е. Правда должна быть спокойной.

А может быть, правда и есть самое страшное на свете?

Ну что ж, если ты выжил, когда рядом погибли многие, то, конечно, не потому, что ты оказался лучше, достойнее других, - можно вполне сослаться на чудо. Но каждое чудо имеет свою цену. За него надо платить.

Что же произошло у нас в литературе с лагерной темой?

Л. Толстой описывает, как Николай Ростов, попав на боевые позиции, испытал совсем не то, что представлялось ему по рассказам других. И когда ему самому довелось попасть в рассказчики, он, будучи "правдивым молодым человеком", "начал рассказывать с намерением рассказать все, как оно точно было", но от него ждали совсем других рассказов, и он "незаметно, невольно и неизбежно для себя перешел в неправду". "Рассказать правду очень трудно", - добавляет Толстой.

Жаль, что и наша литература, а особенно критика, д а в и т на писателей, требуя от них не спокойной правды, а "ожидаемых рассказов", и тем самым разогревает фантазию.

В повести Жигулина есть такое место:

"Хорошее, бодрое было настроение, и я в такие минуты мечтал... И уже не молоток у меня на плече, а винтовка. И вовсе мы не бригада, а отряд..." (№ 8, с. 70).

Желаемое, принимаемое за действительное, — не оно ли побуждает в наших рассказах излишнюю игру фантазии?..

Юлий Даниэль в 1964 году свидетельствовал, что в дома интеллигенции "на плечах реабилитированной 58-ой... вошли" мат, блатные песни, уголовные легенды (см. "Юность", № 11, 1988).

Правду слышать никому не хотелось. Не этот ли заказ и породил шаблон нашей лагерной литературы?..

Я с грустью пишу эти заметки: ведь любое препарирование — покушение на чужую боль, кто право имеет на это...

Но ведь воспоминания Жигулина не остались в единственном экземпляре — растиражированные, они могут говорить не только мне, но и о б о м н е.

Я с грустью читал эту повесть: но почему наша боль должна кричать о себе неправдой?

Читатель, ждущий от лагерных рассказов только ужасов, разочарован не будет — картину ужасов, думается, автору удалось создать, на что критика ответила хорovým "ах!". Но, отдохнув от междометий и присмотревшись трезвым взглядом, мы увидим, во-первых, что нарисованная картина далеко не всегда свидетельство очевидца — автор создает ц е п ь ужасов, включая факты из прошлого, т. е. из того времени, когда рассказчика еще не было на месте событий, или из будущего, когда его там уже не было, — следовательно, по чужим рассказам, т. е. п о с л у х а м.

Во-вторых, отдельные инциденты, отдельные эксцессы подаются как постоянно бытующие, угрожающие каждому.

В-третьих, одни факты вступают в противоречие с другими, приводимыми рассказчиком.

И, наконец, в-четвертых, многие факты просто н е в е р н ы е.

Как о банальном бытовом явлении рассказано об охоте на людей. Каждый, кто был в лагере, знает, что такая возможность существовала — так иногда расправлялись с неугодными "элементами". Но вряд ли даже один из тысячи подтвердит, что он сам был мишенью в такой охоте или был ее очевидцем.

Одну из таких попыток, когда он сам чуть не стал такой мишенью, рассказчик описывает. Она завершилась тем, что "у солдата отобрали автомат и под конвоем отправили в казарму", а затем " в психиатрическую больницу" (значит, начальство не очень поощряло такую охоту?) (№ 8, с. 69-70). Выходит, что мы имеем дело с эксцессом психопата, а не с "типичным, баналь-

ным" случаем (с. 69). И как совместить слова рассказчика, что с ним "было несколько таких случаев", с его же утверждениями, что в такой охоте "счастливый исход был редок" (с. 69)? Он-то ведь остался живой...

Только что мы видели рассказчика бравым бригадиром большой строительной бригады, и ему вполне хватало сил крутить любовь. У него были хорошие вещи, деньги, позже узнаем, что он получал посылки, - и вдруг неожиданно оказывается, что он "плохой работяга", быстро превращается в доходягу, который не выдерживает сравнительно легкой работы. Чтобы избежать окончательной гибели, он нарочно устраивает себе ангину с сорокаградусной температурой (по-лагерному это называлось - заделать м а с т ы р к у), затем с а м о р у б. Таким образом месяца на три он добыл себе освобождение от работы (№ 8, с. 65-66).

Все это как-то не вяжется с тем, что мы знаем о нашем герое: еще подростком он соорудил сложный мебельный гарнитур для куклы (№ 7, с. 18); умел водить грузовик (№ 8, с. 94); на Колыме, будучи доходягой, "таскал на кухню мешки с мукой... по семьдесят килограммов" (№ 8, с. 83); на руднике Белова работал электриком, был бурильщиком, был "опытным машинистом-лебедчиком" (№ 8, с. 91, 103); на Коцугане, читаем, он "был смел и силен, как молодой зверь" (№ 8, с. 84).

Про человека с таким складом характера и организма нам, конечно, удивительно читать, как он легко и быстро превратился с беспомощного, безнадёжного доходягу.

И особенно это удивительно, когда мы видим, что в паре с ним, нашим двадцатилетним героем, на лесоповале работает семидесятилетний японец Кумияма, который уже пять лет как в лагере и который, конечно, никакой помощи ниоткуда не получает. И ничего, выдерживает... (№ 8, с. 63). Может, оттого, что он за пять лет п р и в ы к?

Между прочим, то, что семидесятилетний человек находится не в инвалидном лагере, а в общем, и на самых тяжелых работах, - факт если не абсолютно невозможный, то чрезвычайно невероятный. Но рассказчика этот факт совершенно не удивил - для него он, видимо, тоже "типичный, банальный"...

Кстати, "мастырщики" и "саморубы" у эсков тоже не пользовались уважением...

На Колыме повествователь за отказ от работы в шахте "месяцами сидел в холодном БУРе, на 300 граммах хлеба и воде". На поверхности часто "жестоко

обмораживался, попадал в лазарет" (№ 8, с. 85). Полтора месяца не работал, находясь на отдыхе. Не работал и несколько месяцев после побега: у него была прострелена рука, сидел в БУРе.

Таким "переделкам" мы готовы посочувствовать. Но вот на странице 102-ой читаем: "У меня уже были зачеты года на два".

Рассказчик даже не считал нужным дать пояснение о зачетах, как будто читателям и так все должно быть ясно.

Зачеты рабочих дней применялись на Колыме, а также на ряде крупных строек и тяжелых производств на материке (в Тайшете их не было). Зачеты зависели от вида работ и от перевыполнения плана. За нерабочие дни зачетов не давали, а злостных штрафников даже лишали уже заработанных.

Повествователь на Колыме был всего два года. Спрашивается, когда же он успел заработать эти зачеты, если он месяцами не работал, месяцами сидел в штрафном изоляторе?

На зачеты надо было ох как вкалывать! Да еще нужно иметь благосклонность бригадира.

В августе-сентябре 1951 года рассказчик находился на Магаданской пересылке, где ээки жили в палатках. Он пишет: "Палатки были рассчитаны на большие морозы, но на колымскую зиму - увы! - не годились. Даже с печью, сделанной из большой железной бочки. Просчитались конструкторы. Люди замерзали насмерть в таких палатках и при раскаленной красной печке" (№ 8, с. 72).

На Колыме ведь, утверждает автор, "морозы за 50-60 и даже 70 градусов стояли долгими месяцами. За 50 градусов - до четырех месяцев подряд" (№ 8, с. 76). И это еще не предел: "Зимой температура держится здесь ниже 70 градусов два с половиной - три месяца" (№ 8, с. 85).

Все как будто гладко, но, во-первых, в самом Магадане сильных морозов никогда не бывает - зима там, в общем, немногим холоднее ленинградской (я всю зиму ходил там в осеннем пальто), так что замерзнуть в двойной палатке, да еще при огромной железной печке, абсолютно невозможно.

А во-вторых, хотя вглубь территории морозы действительно суровы, но не в такой фантастической степени. Вот справка из "Краевых записок" (Магадан, 1957): "Суровым, континентальным климатом отличаются центральные горные районы области, где зимой темпера-

тура нередко опускается до минус 50 градусов..." (с. 80).

А те дни, когда температура бывала ниже 50 градусов, для работы были активированными. Вряд ли бы такое удовольствие часто доставляли заключенным!

Вот читаем:

"Смертность в Бутугычаге была очень высокая. На "Лечебной" спецзоне (точнее назвать ее предсмертной) люди умирали ежедневно" (№ 8, с. 86).

И вообще "комплекс Бутугычага был рассчитан в конце концов на постепенную гибель всех заключенных - от дистрофии и цинги, от самых разных болезней" (№ 8, с. 80).

Эти утверждения категорически надо отметить.

Я сам как-то недели две провел в этой "Лечебной" зоне на Центральном лагпункте, попал туда с невысокой температурой. Помогал там известному киевскому профессору замечательному кардиологу Николаю Даниловичу Цветковскому, тоже эзку; в частности, он давал мне переписывать акты о смерти (это ему было нужно для книги, над которой он там работал).

Могу также сослаться на свидетельство моего приятеля, долго работавшего в той же санчасти, с которым мы потом вместе были в Усть-Омчуге в ссылке.

Смертность в действительности была незначительной.

Я даже не могу назвать ни одного имени, о чьей смерти я знал или слышал бы. А знал я многих.

Надо сказать, что действительно было на Бутугычаге такое время, когда смертность там была огромная. Этот лагерь вначале был чисто каторжанский. По указу 43-го года для активных фашистских пособников-карателей ввели смертную казнь через повешение или 15 или 20 лет каторжных работ (а не "исправительных работ", как ошибочно сказано в повести на с. 56, № 8). Каторжан от итэловцев можно было сразу отличить по номеру. Прибывала первая партия - ей давали номера А-1, А-2, А-3 и т. д. ... до тысячи; затем номера начинались с новой буквы: Б, В и т. д. Итэловцы же имели номера с индексом: мой номер, например, был Л-1-105. Так вот каторжан с начальными буквами алфавита среди нас было очень мало - остальные все ушли на Аммоналовку, то есть на Бутугычагское кладбище.

Но такое массовое исчезновение людей было задолго до нас - во время войны и в первые послевоенные годы. В наше же время (я попал на Бутугычаг в августе 1949 года и в августе 1951 был отправлен с Коцугана на ссыльное поселение) **р а б о ч у ю с и л у** уже не

уничтожали, а поддерживали. Рудник № 1 был важным стратегическим объектом, а с поступлением новой рабочей силы было уже туговато.

Рудник № 1 держал специальную столовую от п р о и з в о д с т в а, чтобы подкармливать забойные бригады (лагерь и производство в Бутугычаге были друг от друга независимы). В лагере боролись с цингой: з а с т а в л я л и каждого ээка принимать густой и противный на вкус экстракт стланника, пить хвою, варили для всех дрожжи. На Коцугане завели свою коптильню, и все заключенные получали копченую рыбу...

Самый жуткий лагерь на Бутугычаге был лагерь "Сопка" (наверное, и на всей Колыме. В ходу была поговорка: "Кто на Сопке не бывал, тот Колымы не видал..."). Там регулярно проверяли давление, и каждый месяц по тридцать-сорок человек с высоким давлением спускали вниз.

Зима 49-50 на "Сопке" была ужасной - сплошная дохиловка: весь лагерь катился на тридцати процентах выработки, и питание имел, разумеется, соответственное. В начале 50-го года до "Сопки" докатилась страшная эпидемия гриппа - стационар был весь забит, и однако если смертность была, то буквально единичная. Говорю не с чужих слов - во время эпидемии я был в стационаре, с обмороженной пяткой, помогал там в качестве санитаря.

Может быть, у Жигулина все это просто поэтические преувеличения, недаром он о себе говорит: "Я - последний поэт сталинской Колымы. Если я не расскажу, - никто уже не расскажет" (№ 8, с. 84).

В воронежской тюрьме, выходя на прогулку без телогрейки, он бравитует: "Я пришел с Колымы. Там сейчас морозы до восьмидесяти градусов" (№ 8, с. 106).

Но если с поэтическими вольностями мы еще можем мириться, например, в стихах, где птицы из Бутугычага летят на Индигирку *через* Усть-Омчуг (это Бутугычаг находится *между*), - то в документальной прозе всякая неточность недопустима.

А ошибок в повести предостаточно. Вот несколько примеров.

1) Приводятся цифры, что в лагерях Бутугычага 50 тысяч заключенных (№ 8, с. 94), в том числе на центральном лагпункте 25 тысяч (№ 8, с. 75); в поселке Бутугычаг ("точнее, пожалуй, город...") 50 тысяч населения" (№ 8, с. 79).

В действительности во всем комплексе Бутугычага - 10-12 тысяч ээков, в районном центре Усть-Омчуг -

и то не более 5 тысяч населения, в самом Магадане всего было 50–60 тысяч.

2) Подземные бригады работают по четырнадцать часов (№ 8, с. 78).

Рабочий режим в Бутугычаге был каторжанский: по двенадцать часов. В забойных бригадах рабочий день был короче, тем более, что работали они в две смены. Два раза по четырнадцать – в двадцать четыре часа не уложатся.

3) На "Сопке" совсем не было воды (№ 8, с. 79).

Но там воду добывали не только из снега: в заброшенных гротах били источники, оттуда бригада водоносов в больших бочках таскала воду на кухню и в санчасть. Путь был очень тяжелый, в некоторых местах приходилось пробираться ползком. Какое-то время я был в этой бригаде. Но хотя на кухне нам давали лишнюю миску баланды, я из этой бригады ушел: таскать такие бочки мне было не по силам.

4) Сомнительна очень история с доктором Батюшковым. Во-первых, каким образом при нем мог оказаться диплом об окончании института? Отбирали не только документы, но даже и письма. Во-вторых, как мог доктор, тем более при наличии диплома, оказаться на общих работах, когда в лагерях врачи были на вес золота? А об этом говорится не как об экстраординарном случае, а как об обычном явлении.

5) Не раз нам дают консультацию по уголовному законодательству: "Всего 1–3 года за хранение огнестрельного оружия" (№ 8, с. 56). Но даже за хранение холодного оружия – до 5 лет.

Рассказчику дали десять лет. Ему повезло, "что была отменена смертная казнь", иначе угрожал бы расстрел (№ 7, с. 7). Но расстрел заменялся не десятью годами, а двадцатью пятью.

Повествователь не упускает случая прочесть нам чуть ли не целую лекцию, скажем, как снимаются отпечатки пальцев или об устройстве подземных выработок, привести географическую справку или комментарий о каком-нибудь термине или выражении: "Сначала я работал на подкатке баланов (балан – нижняя часть дерева длиной в 6,5 метра) (№ 8, с. 59).

В соответствующих справочниках технической терминологии слово "балан" отсутствует, его нет и в различных словарях русского языка. Производственники также не употребляют этого слова. Это жаргонное слово, родившееся, скорее всего, в непрофессиональной среде, и означает просто *бревно* – ни к какому определенному размеру оно не прикреплено.

Но, может быть, перед нами все-таки художественная повесть с правом на поэтический вымысел? Но А. Жигулин не только оперирует подлинными именами, географическими местами, привязывает повествование к точным датам, но и не раз декларирует, что он рассказывает абсолютную правду:

"Если эти заметки прочитает человек, бывший на центральной пересылке Берлага в конце августа - начале сентября 1951 года, он скажет: да, точно, этот писатель был там в это время" (№ 8, с. 73).

Значит, мы вправе требовать от повести абсолютной достоверности подробностей, а также объяснения тех фактов, которые сами по себе для читателя не очевидны.

Есть жанры, которые самоокупаются занимательностью или эмоциональностью впечатлений. Но для жанра, избранного Жигулиным, - тем более, что пашет он по целине, - самым опасным является утрата доверия. Она может лишить произведение всякого смысла.

Мне кажется, что повесть распадается на две отдельные части, слабо между собой стыкующиеся. И вторая часть, лагерная, рассказана совсем другим повествователем.

Приговор, определяющий в суде или его подобии наказание в виде лишения свободы, свое действие там и прекращает. В лагере же осужденный попадает совсем в другую *систему*, со своей точкой отсчета, которая и решает, чего тебя там в действительности лишили.

Первое, чего добивается лагерная система от каждого заключенного, - это чтобы он забыл свое право остаться таким, каким он сюда вошел.

И в обстановке, когда зачастую речь идет просто о выживании, нужно иметь особое мужество, чтобы суметь сопротивляться системе, которая уравнивает безвинного и рецидивиста, интеллигента и хулигана, специалиста и чернорабочего, политического и бандита.

От молодого человека, одного из руководителей КПМ, заявившего, что "КПМ должна будет жить и в тюрьмах, и в лагерях", - мы и ждем рассказа о таком сопротивлении.

...Двое юных влюбленных: он ни слова не понимающий по-немецки, она - ни слова по-русски, - проводят свой медовый месяц на крыше недостроенного барака, ничего и никого вокруг не замечая.

Но не будем торопиться с умилением. "Он" - бригадир большой строительной бригады в 50-60 человек, состоящей из одних немцев. "Она" - немка, рядовой член этой бригады (в бригаде было несколько девушек). А если мы призадумаемся, каково было девушкам в лаге-

рях, в какую зависимость они попадали от сильных мира сего: надзирателей, нарядчиков, бригадиров...

Ну хорошо, пути любви неисповедимы, тем более что эти пути сбалансированы тем, что немцы "почти все очень молодые - лет по 17-18", да к тому же "все в новенькой немецкой форме... И форма многим из них велика, сидела мешковато" (№ 8, с. 52). Но ведь идиллия могла проходить только в рабочее время - в нерабочее их разводили по разным зонам. Они вдвоем с Мартой забирались на чердак, "люк вниз надежно закрыт", и их "никто не видит, никто не беспокоит. Только внизу стучат молотки", наработывая, между прочим, проценты и на Марту, и на помощника, и на "оказавшегося среди немцев" "русского немца с Поволжья", к тому же "еще и инженера-строителя" (и все это "на мое счастье") (№ 8, с. 53). Ведь эти двое, фактически руководя работами вместо бригадира, сами-то не работали, а числились по бригаде простыми работягами.

Почему же его, двадцатилетнего студента-первокурсника, нарядчик своею волей назначает бригадиром? Потому что, как тот говорит: "Нас, с о в е т с к и х, русских, в данный момент на всей пересылке только двое: ты да я" (№ 8, с. 53). (Это при том, что "этапы ежедневно приходили и уходили". № 8, с. 52.)

Такое объяснение рассказчику кажется вполне естественным, как и естественно, что он "вдохновенно со-врал" (№ 8, с. 52), будто бы он студент четвертого курса и целый год изучал строительное дело.

Впрочем, не будем особенно переживать, что вся эта история не очень согласуется с нравственными заветами КПМ, потому что, скорее всего, это не больше, как л е г е н д а. Ибо в другом месте (№ 8, с. 92) он забывает, что бригадир, и ведет себя как простой работяга: через т р и д н я после ухода Марты он с "какой-то группой заключенных" выходит на разгрузку платформ. И, замышляя побег, он прячется в досках, надеясь, что конвой просчитается. Если бы он вышел как бригадир, то конвой ни в коем случае не мог бы не заметить отсутствия бригадира, с которого бы и спросили, все ли у него люди.

А что это за мальчики (из которых, конечно, не могли создать плотничкие бригады) "в новенькой немецкой военной форме"? И это в 1950 году! В повести поясняется много подробностей, часто не имеющих отношения к делу, а вот такой удивительный факт объяснения требует непременно, а тут - ни слова.

Зато литературный источник подобной ситуации, где любовь между советским бригадиром (виноват,

офицером) и немецкой девушкой и где присутствуют немецкие мальчики в мешковатой форме, назвать можно - это "Берег" Бондарева...

С первых страниц лагерной повести возникает понятие "дать на лапу" - дать, чтобы Марту не отправили на этап; дать, чтобы получить лишний черпак супа; дать, чтобы остаться в теплом цехе; дать бригадиру Степанюку, чтобы перевел троих друзей с Дизельной на Центральный отомстить Протасевичу и "замочить" его; дать электрику, чтобы помог в побеге, и т. д. В качестве "лапы" годится все: авторучка, шапка, деньги, шмотье, спирт и даже стихи Есенина...

"Дать на лапу" - это образ жизни, который стал устанавливаться у нас при деформации нашего общества. Естественно, что этот стиль перекочевал и в лагерную систему. Удивительно лишь то, что этот стиль является естественным, нормальным для повествователя, который в лагерь-то попал как протестант против всякой несправедливости, против любого проявления деформации общества. Для него это, оказывается, так же просто и обыденно, как будто он всю жизнь "давал на лапу"...

Возьмем другой эпизод. На Бутугычаге бригадир Протасевич предложил рассказчику стать его помощником. Но он отказался: не хочет быть с п и н о г р ы з о м (так он называет помощников бригадиров) (№ 8, с. 77). Непонятно, во-первых, почему обязательно быть помощником - это быть спиногрызом? Можно просто быть хорошим помощником - хорошим и для дела, и для бригады. Во-вторых, почему же он не отказался быть бригадиром над немцами, да еще в помощники, то есть в с п и н о г р ы з ы, взял лютого бандеровца, "тяжеловоза", которого "не повесили только потому, что смертная казнь отменена была" (№ 8, с. 52)?

Конечно, не без влияния литературных шаблонов повествователь позволяет себе х у д о ж е с т в е н н о м ы с л и т ь не людьми, а категориями: бандеровцы, полицаи, суки, нарядчики, бугры, спиногрызы, стукачи, придурки (но разве мало было, скажем, среди осужденных бандеровцев людей безвинных...). Очень часто он называет их даже без имени - просто "нарядчик", "бригадир", "начальник", "повар" и т. п. Ведь это все, так сказать, враждебные силы. За исключением только одного бригадира и одного нарядчика - это сам повествователь и тот нарядчик, "очень хороший человек", который без достаточных оснований сделал его бригадиром.

Может быть, выделение в особую - высшую - категорию "советских русских" - случайная шероховатость, но вот, оказывается, бригадир Протасевич, "честный сука", хочет сделать рассказчика своим помощником за то, что он "природный русак" (хотя в помощники выбирают всегда крепких ребят, а рассказчик в то время был физически очень слаб и для такой должности просто не годился) (№ 8, с. 77).

А дальше еще хуже. Эту особую высшую категорию чтили и честные воры. При отсутствии другого ворья они приближали к себе "уважаемых битых фраеров (в основном, из военных и обязательно природных русаков, т. е. русских из России)". Ну, а на долю других, скажем, "западных украинцев или харбинских русских", оставалось только - быть шестерками (№ 8, с. 93).

Кроме "природных русских", есть еще одна категория, вызывающая восхищение повествователя, - это честные воры, изображаемые в виде этакой прослойки рыцарей, которые по полному праву занимают высший ярус в лагерной иерархии.

Это Иван Жук - "друг еще более давний" - рецидивист, осужденный за убийство, за вооруженный грабеж. Познакомились они на этапе, затем снова встретились на пересылке в Магадане:

"На пересылке было весело. Хозяином там был Иван Жук".

Они там "чифирили. Ели молодую, свежепойманную жареную треску. Ах! Как она была вкусна!" (№ 8, с. 93).

Затем снова на "Черных камнях" "встретились... как друзья, как родные люди" (№ 8, с. 93).

Повествователь все стремится отомстить своим врагам: Протасевичу, Дзюбе. Это его главное желание. Поэтому при виде Ивана он восклицает: "Да, если бы нам на "Черных камнях" попались Протасевич или Дзюба!" (№ 8, с. 94). Вместе с Иваном - не с кем иным - отпраздновали они смерть Сталина. Иван Жук настолько авторитетен для героя, что он соглашается, уже после смерти Сталина, совершить вместе с Иваном побег. У Ивана срок двадцать пять лет, у двух других участников побега - такой же. Понятно, почему им захотелось идти в побег, но какой смысл в этом рассказчику? Ведь за два года вместе с зачетами он сумеет добить свой срок, да и Сталин умер - можно ожидать перемен. Ну, и куда ж он побежит? Ведь это отрежет его от родных, от друзей. Даже если побег и удастся, то ему одна дорога - в подпольные воровские малины,

а КПМ - прощай... Но он все же бежит. Его даже не смущает то, что Иван Жук под угрозой убийства заставляет электрика помогать им в побеге.

Ну, ладно, Иван - бандит, но, может, такая высокая душа?!

Когда же побег провалился и из четверых уцелел только рассказчик, - к кому он снова идет, к кому примыкает? К другому вору - Лехе Косому. И чифирит уже с ним "и другими ребятами". И с командой Лехи Косого едет на Центральный "мочить сук". И Протасевич, смиренно попросивший у него прощения, и новый нарядчик, и бригадир Степанюк - все перед ним лебезят, снабжают жратвой, чифиром, деньгами, потому что они узнали, что он "может оказаться в высшем воровском руководстве лагеря" (№ 8, с. 100). Вот, оказывается, куда мечты приводят повествователя!

Кстати, на Бутугычаге ни воры, ни суки не верховодили. Было их очень мало, и они были незаметны. А нарядчик лагеря - это такая фигура, что ни к какому "Толику-студенту" никогда не побежит.

Нарядчика Купу действительно убили, но не суки и не воры, а свои же западники.

После 51-го года было такое поветрие, что на Бутугычаге порубили несколько нарядчиков, старост, бригадиров, но сделали это обыкновенные работяги.

И уж чудно совсем, когда повествователь рассказывает, как он постоянно ходил с пикой в кармане. И это при том, что на вахте каждый день бригады тщательно "шмонали", а в их отсутствие старательно обыскивали бараки. Да еще сотни глаз за тобой, из которых не один найдется, кто обязательно с т у к н е т (донесет)...

О ворах рассказчик уже говорит только - "мы".

Да и сама стилистика его мышления и речи становится насквозь пропитанной воровским жаргоном. Рассказчик как бы с гордостью называет себя "битым фраером", но ведь "фраер" - это значит "не вор", с презрительным оттенком, и себя так никто, конечно, не называл. Высшая форма дружбы в лагере - это когда люди вместе едят из одного котелка. Об этом говорит и рассказчик: "ж р а л и в м е с т е" (№ 8, с. 82). Русского мата в лагере не чуждался никто - в ходу он был и у интеллигенции, и у женщин, но все-таки те, кто старался и в лагере сохранить в себе какие-то начала интеллектуальности, о своей дружбе так никогда не выражались - говорили по-другому: "Мы вместе е д и м".

Быть допущенным в воровскую среду - это ведь не просто дружить с ворами, а во всем исполнять их воровской закон: вору даром не кормят.

А каков их образ жизни? Они даже и других при необходимости могли роскошно одарить "шмотками, спиртом, жратвой, деньгами" (№ 8, с. 95).

Попадая на материк, рассказчик потрясает всех своими берлаговскими номерами ("смертник... смертник..."): "Мелкая блатная шушера освободила мне лучшее место на верхних нарах" (№ 8, с. 105). Принесли ему чифир, который "пришелся весьма кстати", и на его вопрос: "А бацильное что-нибудь есть?" - тотчас же находится "и бацильное, то есть что-то из сала, масла, колбасы" (№ 8, с. 105).

Раньше рассказчик возмущался, что работяги голодают из-за того, что две трети продуктов забирали себе придурки. А за чей счет, интересно, так привольно и богато живет "высшее воровское руководство"? Может быть, они спецпайки получают?..

Хотя автор пишет, что "не стоит романтизировать воров и их законы, как они это сами делали в жизни и в своем фольклоре, как это иногда делали даже известные писатели" (№ 8, с. 56), - мы, к сожалению, видим, что этого не избежал и его герой-повествователь.

В долгой страде несвободы трудно переоценить, что значила для ээка любая весточка из дома. Письма, посылки не только были моральной поддержкой, но часто и жизнь спасали. Также важны были и зачеты. Каждый сбрасываемый со срока день ох как был на прицеле у ээка...

Но в повести обо всем этом сказано настолько мельком, что читатель, боюсь, и не заметит, занимают ли эти вещи в реальной жизни героя хоть какое-то место.

Я нарочно отделяю повествователя лагерной части от автора всей повести: ведь автор - это один из руководителей КПМ, который давал обещание, что КПМ будет жить всегда. А представим себе, что наш повествователь попал в лагерь, скажем, по бытовой статье - разве потребовалось бы в содержании второй части что-нибудь изменять? Ведь история рассказчика не только не выдерживает нравственных обязательств КПМ, которые остались за воротами лагеря, но и простых понятий человечности.

Впрочем, не огорчайтесь, вся история рассказчика - это не то, что с ним происходило на самом деле, а это не более, как "лопаты, превращенные в ружья": сочи-

ненный рассказик на потребу вкусов публики, ждущей именно таких рассказов, блатных песенок, блатных легенд и "романтических" походов...

Москва, декабрь 1988

*Г. Н. Горчаков*

## Обновление ума

"И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия, угодная и совершенная".

(Рим. 12, 2)

Слова апостола в наше время, после семидесятилетних мытарств, для русского человека звучат особым призывом, призывом к кардинальному переосмыслению тех духовных и интеллектуальных установок, которые чудовищным образом деформировали народную душу и ввергли ее в состояние перманентного идеологического психоза. Как океанский корабль после долгого плавания требует тщательной чистки в сухом доке, так и наш ум нуждается в освобождении от идеологических полипов всех видов и форм. Обновления ума требует от православных христиан современная мировая ситуация.

Одновременно, как это следует из слов апостола Павла, это есть и личное преображение. Обновление ума для апостола является началом преображения всего человеческого естества.

На этом поприще есть много направлений, но мы обратимся к пути религиозно-философского просветительства, на котором подвизается журнал русской христианской культуры "Выбор".

Перед нами уже четвертый номер, посвященный тысячелетнему юбилею крещения Руси. Журнал от номера к

---

"Выбор". Журнал христианской культуры. Редакторы В. Аксютин и Г. Анищенко. Москва.

номеру становится содержательней. Появились новые разделы: "Благая весть за колючей проволокой", "От науки к религии", которые значительно обогатили журнал и расширили его представительство.

С каждым номером нарастает эмоциональное и интеллектуальное напряжение журнала. Особенно это заметно по двум главным разделам: богословско-философскому и историософскому, которые придают журналу особенный творческий тонус и, являясь центрами притяжения, формируют остальную материал и задают основные темы для сотрудничающих авторов. Причем, необходимо отметить, что форма журнала подвижна, нет раз и навсегда установленной последовательности, а компоновка и архитектура журнала зависит от основной темы, предложенной издателями. Это придает изданию известную пластичность и смысловую выразительность.

В подтверждение вышесказанного достаточно обратить внимание на последовательность отделов в четвертом номере. Богословско-философский отдел тактично уступил председательствующее место церковно-общественной публицистике, что в свою очередь связано с темой тысячелетнего юбилея крещения Руси.

Журнал настолько щедр на новые идеи, что уже в редакторском предисловии имплицитно дана ни много ни мало новая богословская концепция Новой истории. Я имею в виду ту часть предисловия, где сказано о переживании человечеством земной судьбы Христа. Мысль настолько проста, насколько грандиозна, и дает безусловные координаты для исторической науки. Время единократных борений Спасителя становится временем человеческой истории, ее метацентром — точкой, откуда исходят и куда сходятся все упования и свершения человечества: все горе, боль, страдания и их высшее разрешение в — Воскресении. Такие богословские основания для обновления истории как науки.

В отличие от официальных славословий и парадной шумихи, со страниц журнала звучит голос конструктивной общественной критики и слышна озабоченность современным положением РПЦ.

Экклезиологической темой движется и живет первый раздел "Тысячелетие, венчанное мученичеством". Эта тема раскрывается в трех аспектах: традиция, творчество, ответственность. Весь материал группируется по этим направлениям.

Статья А. Белицкой посвящена крещению св. равноапостольного князя Владимира. А. Белицкая интерпрети-

рует этот исторический факт как духовный подвиг вел. князя и убедительно опровергает "керсунскую легенду" о внезапном обращении кн. Владимира из блудодеев и язычника. Из представленной статьи А. Белицкой вырисовывается новая историческая концепция крещения Руси.

Опубликованный в журнале доклад прот. Иоанна Мейендорфа вдохновляет органичным соединением здорового консерватизма и творческого дерзновения. Научная основательность, трезвость, а с другой стороны, непредвзятое, свободное отношение к богослужебной практике православия создают тот неподражаемый стиль богословия, которым отличается ментальная традиция св. Владимирской духовной академии. В своем докладе "Об изменчивости и неизменности православного богослужения" о. Иоанн определяет тот критерий, по которому можно судить о православности или неправославности богослужебных изменений: единство веры и молитвы, — вот главный принцип, которым должно руководствоваться церковное общество в творческом обновлении богослужебной практики.

Личным исповеданием веры можно назвать краткие тезисы прот. Александра Меня об "Основных жизненных принципах христианства". Но это как раз тот случай, когда через личное исповедание открывается соборный опыт Церкви.

Миссионерским пафосом и заботой о заблудших овцах стада Христова наполнена статья о. Дмитрия Дудко "О христианстве". В простой и доходчивой форме о. Дмитрий показывает спасительные знаки христианства и их абсолютное значение по сравнению с другими религиями и атеизмом. Как всегда, в беседах о. Дмитрия подкупает интонация добросердечия и душевной доверительности, которая безотчетно располагает к нему собеседников. Интересно отметить, что миссионерское служение о. Дмитрия часто носит на себе черты юродства Христа ради, что можно уловить в завершающей интонации представленных записок.

Проповедь о. Алексея Аверьянова наполнена горячим призывом к очищению Церкви от лжи и верой в восстановление Божией правды в грядущей России.

"Новые проблемы нового тысячелетия" — так называется одна из критических статей этого раздела. Г. Анищенко посвятил ее теме трезвения перед трансформирующимся обликом атеизма. Автор разоблачает те "культурно-исторические" подмены, к которым хотят свести природу Церкви энтузиасты "перестройки".

В этой статье не для всех явно Г. Анищенко полеми-

зирует с о. Дмитрием Дудко. Нам хотелось бы высказать несколько слов в защиту позиции о. Дмитрия и тем самым возразить уважаемому автору.

Дело в том, что когда о. Дудко говорит о том, что религиозная литература и, в частности, Библия не залежатся на прилавках магазинов, если их в свою очередь напечатают, то он имеет в виду ту колоссальную духовную ЖАЖДУ, которая сама по себе уже есть знамение иного времени. Естественно, как опытный пастырь, он никогда и не предполагал, что одно лишь чтение Библии может "произвести переворот в сознании". Библия открывает иное измерение жизни, которое может подвинуть человека на духовно-душевный труд, а может и нет. Поэтому в этом случае полемический пассаж Г. Анищенко в цель не попадает. Но справедливости ради необходимо отметить, что такая жесткая позиция спасает от расслабляющего сентиментализма и уравнивает не всегда оправданный оптимизм. В свою очередь приятно слышать дружественный тон этой скрытой полемики.

Перед лицом нового тысячелетия Г. Анищенко призывает к духовному бодрствованию и активному противодействию приспособляющемуся ко времени безбожию.

Вернуться к православному наследию, включить духовный подвиг свв. Бориса и Глеба, его благодатные энергии в нашу повседневность, по-новому осмыслить этот церковный факт и сфокусировать в личную жизнь - таков основной пафос статьи А. Бессмертного-Анзимирова. Принятие духовного наследия свв. Бориса и Глеба должно, по мысли автора, придать новый творческий импульс во внутреннем обновлении мира и жизни.

Глубокой тревогой и скорбью наполнены слова коллективной статьи прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Риги. В этом письме, озаглавленном "Седьмое лето", - горячий призыв отложить всякое мирское попечение ради служения Единому Богу. Критику тепло-хладного духовенства, несмотря на суровый тон, следует признать справедливой, но не мешает также и помолиться об исцелении немощей нашего священства. Седьмое лето - это юбилейный год в Ветхом Завете, когда не собирался урожай, а вся жизнь людей подчинялась молитвенному служению Богу, и наше спасение в восстановлении духовной преемственности.

Круглый стол журнала посвящен теме Россия и Запад. Встреча двух культур, любовное узнавание, преодоление многолетних предрассудков и фобий - вот результат этого личного общения. По высказываниям участни-

ков встречи все ясней становится тот факт, что трагический опыт, пережитый нашим отечеством, становится краеугольным камнем в духовном оздоровлении Запада. К России устремлены надежды и думы серьезных западных мыслителей и верующей интеллигенции. С Российской Голгофы ждут нового положительного слова о мире и человеке. На нашей выжженной земле завязывается новый исторический сюжет – сюжет обновления всего мира перед последним актом истории. Подобные "неформальные" встречи способствуют более глубокому и объективному пониманию происходящих перемен в России.

Теперь мы обратимся к одному из спорных разделов журнала – разделу "Богословие и философия". Здесь продолжают публиковаться отдельные главы из очень интересного труда Б. С. Бакулина "Учебник догматического богословия". Представленную часть под названием "Православное учение о Церкви" характеризует динамический взгляд на проблемы экклезиологии. Автор суммирует и творчески обобщает разработки в этом вопросе таких русских богословов как П. Флоренский, С. Булгаков, Г. Флоренский и др. Свободный взгляд на проблемы догматики, творческое отношение к традиции, свежесть и четкость изложения, – вот основные положительные черты предложенного сочинения. Актуальное исследование, необходимое для преодоления катастрофического разрыва между истинами православной веры и их обрядовой стилизацией, маскирующей дремучее невежество. Еще один шаг на пути оживления традиций святоотеческого богословия.

Одной из самых дерзновенных, а поэтому для большинства современных христиан спорных, будет работа В. Аксючица "Творение. Грехопадение. Часть 2". В первой части этой работы, которая, надо сказать, входит в фундаментальный и еще пока полностью неопубликованный труд философа "Под сенью Креста", автор, опираясь на главный онтологический факт – Распятие Богочеловека, убедительно критикует традиционную концепцию грехопадения. Дело в том, что в апориях вины-наказания совершенно игнорируется тот факт, что "Агнец Божий заклан предмирно", т. е. еще до акта творения мира, а следовательно и грехопадения. В свете этого указания общепринятая доктрина, носящая оттенок моральной причинности, рассыпается в прах. И ссылки на сверхразумность этого события ничуть не спасают защитников этого взгляда, потому что они высказывают суждение по поводу мифа, опираясь на законы логики, тем самым оперируя категориями разума. В таком крайнем

случае последовательней бы было отказаться вообще от понимания чего бы то ни было.

Распятие есть акт Божественной свободы, исходящей из апофатических глубин Пресвятой Троицы, и нигде, никогда и никем не определяемый. Опираясь на эти основания, В. Аксюциц опровергает традиционную концепцию грехопадения, как плод некритического заимствования и юридического толкования библейского сказания. Если мир дан человеку как наказание, а не как дар, а следовательно и долг, то Воскресение становится мнимым, история, культура обесмысливаются, всякое творческое приращение в мире – иллюзорно и по большому счету не праведно. В общем, мы отсылаем всех интересующихся этой непростой проблемой, к третьему номеру журнала "Выбор".

В 4-ом номере тот же автор разворачивает перед нами положительную часть своей концепции. И здесь читателю предстоит очень интересный и напряженный труд по освоению того диалектического метода, с которым автор приступает к исследованию процессов, предшествующих грехопадению.

Инструментальное значение имеет по-новому осмысленное понятие "бытия", которое в имплицитном виде содержится в этой статье. Как всегда, мысль автора движется от целостного созерцания к диалектическому описанию реальностей. Этот метод можно условно назвать методом онтологической дедукции. В качестве примера мы укажем на виртуозный диалектический пассаж, который описывает почти что апофатическую глубину первичных импульсов творения. Это то место в работе, где анализируется проблема происхождения небытия в Боге, и первичная поляризация сил в лоне творения. Поистине, титанические усилия прикладывает синтезирующая мысль философа, чтобы совместить несовместимое. Результат творческого дерзновения – онтологическое равновесие, достигнутое без умаления Божества или обожествления твари.

Это равновесие, а равно и духовная координация на Распятие как главный онтологический символ, и являются основной метафизической опорой для дальнейших дедукций автора. В дальнейшем перед нашим мысленным взором разворачивается грандиозная картина миротворения, в которой человеку отведена главная трагическая роль.

Акт грехопадения и интерпретации В. Аксюцица есть акт принятия бремени бытия, свободный ответ на призыв Творца – начало целостного преобразования твари. И здесь ответ на проклятый гамлетовский вопрос. В этом

положительный смысл акта, называемого грехопадением: ответить на призыв Творца, сквозь бушующий хаос пронести и на всем запечатлеть образ Божий – в этом миссия человека, и без погружения в бездну этого не выполнить. Но в этом же предмирном выборе и семена мирового зла. Впрочем, это не совсем благодарное дело пересказывать эту захватывающую статью. На наш взгляд, это огромный шаг на пути освобождения человеческого духа от ветхого сознания.

Конечно, развернутые автором представления возбуждают некоторые вопросы, на которые в рамках статьи ответ не дан, как, например: а) проблема возникновения зла; б) персонификация зла; в) соотношение Божественного и тварного творчества; г) соотношение Божественной и тварной свободы.

В работе содержится только намек на разрешение возникающих вопросов.

Следующая статья А. Пригорина "Грехопадение" посвящена той же теме, что и предыдущая. Но, в отличие от В. Аксючица, А. Пригорин развивает положения традиционной концепции, развивает элегантно, подробно, но по существу противоречиво, что наглядно показал в своей критике В. Аксюциц. Поэтому нам кажется не совсем плодотворным подобное оппонирование в плане творческого обнаружения новых смыслов.

В. Никитин в своей познавательной статье "Храмовое действо как синтез искусств. Священник Павел Флоренский и Николай Федоров", сопоставляя взгляды этих замечательных мыслителей на искусство, выявляет богословский критерий, который сможет скоординировать на вечность современное художественное сознание.

В "Беседах с патриархом Афинагором" еще раз указано на колоссальное значение русской религиозной мысли для судеб всего мира.

В разделе "Благая весть в современном мире" Вл. Зелинский в своем замечательном богословском эссе "Время церкви" еще раз раскрывает ту таинственную реальность, через которую мы причащаемся Царствию Божию, и которая сама в себе содержит благодатные силы для жизни в Истине и Красоте.

Новый и очень актуальный раздел введен издателями с 3-го номера "Благая весть за колючей проволокой". В статье В. Сендерова даны ответы на многие мучительные для современного христианина вопросы. Уникален тюремный опыт автора взаимоотношений со своими палачами. Еще раз показана сила веры, способная ослаблять демоническую одержимость мучителей.

И вновь мы перед новым разделом – "От науки к

религии", в котором помещена очень тонкая работа М. Глебова "О гносеологии бытия". В ней несложным статистическим приемом доказывается неслучайность зарождения жизни во Вселенной, которое автором интерпретируется как доказательство бытия Божия.

Теме России в следующем разделе посвящены три работы: "К историософии России" В. Аксючица, "Заметки о русской идее и мессианских народах" С. Анастасьева, "Будущее России и конец мира" иеромонаха Серафима (Роуза).

В своей работе В. Аксючиц выявляет начала, действующие на арене истории, их взаимосвязь и антагонизм. И в связи с этим анализом определяет точку духовного срыва в истории России, впоследствии приведшего к столь катастрофическим последствиям: иосифлянский раскол духа.

С. Анастасьев разворачивает и дополняет своими размышлениями тему о Русской идее, заданную в 3-ем номере В. Аксючицем.

Иеромонах Серафим, суммируя пророчества о будущем России, напоминает нам о вселенской миссии России в последние времена и о той колоссальной ответственности, которая ложится на плечи каждого христианина перед лицом грядущего.

К 70-летию Александра Исаевича Солженицына журнал подготовил анкету с вопросами и напечатал статью Ф. Светова "Два пути", в которой показывается все возрастающая актуальность для нашей жизни явления Солженицына.

В литературном отделе публикуются замечательные стихи Ю. Кублановского, стихи Г. Анищенко, завершается публикация уже отмеченных критикой ценных мемуаров С. И. Четвертухина.

В литературно-критическом отделе помещена статья С. Белова "Об одной заповеди у Ф. М. Достоевского". Работа, на мой взгляд, страдает некоторым схематизмом в решении проблемы зла у Достоевского.

И, наконец, в отделе "Сообщения" помещен некролог В. Семенко "Л. Ф. Лосев", где дан подробный анализ эволюции взглядов этого одинокого рыцаря философии.

Завершает номер письмо в редакцию руководителя католической общины "Христианская Россия" Романо Скальфи с призывом об активизации миссионерского служения Церкви.

В заключение несколько слов. Наша жизнь, наш современный мир заражен губительными для всего человечества идеями. Во власти безумия мы оказались на краю бездны, и только благодаря непреходящим обетова-

ниям нам дана возможность избежать окончательного развоплощения и не сорваться в небытие. Возможность эта - возвращение к источнику Божественного Ума, Логосу, который может обновить и восстановить ослабленные силы нашего разума, а значит появится возможность правильно и вовремя выбрать, шествуя узкой стезей царского пути.

Журнал "Выбор" отражает и трудные поиски, и начало возвращения на духовную Родину.

Москва, ноябрь 1988

*Виталий Евдокимов*





## СОДЕРЖАНИЕ

с № 151 по № 154

### ПРОЗА

- АХМЕТОВ Низаметдин**  
Улица Свободы. Документальная повесть, 151
- КИРШЕНШТЕЙН Роберт**  
Московский лось. Рассказ, 151
- КОЙТ Андрес**  
Морской пейзаж с одинокой фигурой. Рассказ, 154  
Цветы в ломбарде. Рассказ, 154
- СЛАВИН-БОРОВСКИЙ Павел**  
Перегадов. Повесть, 152
- ФАЛЬКОВ Борис**  
Глубинка. Повесть, 151
- ШЕНФЕЛЬД Игнатий**  
Раввин с Горы Кальвария, или загадка Вольфа Мессинга. Повесть, 153, 154

### ПОЭЗИЯ

- АХМЕТОВ Низаметдин**  
Чем виноват перед тобою. Одиннадцать стихотворений: "За годом год, как будто капли..." - "За днем сожженным, искаженным..." и др., 151

## БОГОЛЮБСКИЙ Константин

Выкуп Господень. Двадцать пять стихотворений: "В мире истинны только печали..." - "Как ослепительны закаты..." - "Что ныне нам до Царства Духа..." и др., 153

## РАЗУМОВСКИЙ Юрий

Люди вышли из "Шинели" Гоголя. Двадцать одно стихотворение: "Поэзия покинула Парнас..." - Черный ящик. - "Из хаты, из юрты, из сакли..." и др., 152

## СЛУЦКИЙ Евгений

Девять стихотворений: "Из угла в угол, от стены к стене..." - Чудо. - Моя родина. - Какаду. - "Я хотел о главном, о важном..." и др., 152

## СОЛОУХИН Владимир

Из новой книги "Северные березы". Шесть стихотворений: Придет весна. - Черемуха. - Старые песни. - Иванушки. - Друзьям. - Настала очередь моя..., 152

## ФЕЛЬДМАН Мара

Девять стихотворений: Вечер ("День кончился, вот он теряет цвет..." - "Небрежно, расточительно разлит жасмин...") - "На уровне быстрого взгляда..." и др., 154

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

### БЕЛОВ С. Н.

"Гений и злодейство - вещи несовместные", 154

**БЛИНКОВА Мира**

Русская писательница Алла Кторова, 153

**БОРИСОВ Виктор**

Поколение, которого нет, 151

**МУРАВЬЕВА Ирина**

Два имени (Т. Толстая и Л. Петрушевская),  
152

**ШТЕРН Лев**

Postscriptum 70 лет спустя (к рассказам  
С. Мозма в пер. с англ. Л. Штерна, напе-  
чатанным в № 150 "Граней"), 151

## **ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ**

**КАМКОВ Борис**

Письма из тюрьмы и ссылки (1921-1924)  
(Публ. Ю. Фельштинского), 152

## **ИСТОРИЯ**

**ИЗЕРГИН Михаил**

Рейд на Лбищенск (публ. и предисловие  
Н. Рутыча), 151

**САВИЧ Н. В.**

Константинопольский период (публ. и  
предисловие Н. Рутыча), 152

**ЧЕРНИН О.**

Брест-Литовск (публ. и предисловие  
Ю. Фельштинского), 153

**ШУР Анна**

Современная западная историография: по-  
пытка обобщения, 154

## ПУБЛИЦИСТИКА

**АНДРЕЕВ Герман**

Феномен русской интеллигенции, 154

**АНИЩЕНКО Глеб**

Кто виноват?, 152

**ЗЕМЦОВ Илья**

Политический словарь перестройки, 151

**ТРЕТЬЯК А.**

Политический режим и характер собственности, 152

**НИКОЛАЕВСКИЙ Борис**

Русские масоны в начале XX века (публ. и предисловие Ю. Фельштинского), 153

## ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

**АКСЮЧИЦ Виктор**

От отчаяния к надежде, 151

Социализм и реальность, 152, 153

**НАЗАРОВ Михаил**

Дискуссия о русской философии, 151

**РЕДЛИХ Роман**

В поиске вполне иного (о философии Льва Шестова), 154

## КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

**В. Александрова**

Экспериментальное поле (В. Глотов "Шаг влево, шаг вправо". - М. 1988), 153

**К. А-я**

"Морячок, красивый сам собою..." (Виктор Конецкий "Вампука". - М. 1988), 153

**Виктор Борисов**

"Мячик закатился под кровать" (Юрий Карабчиевский "... до бывшей слепоты не унизимся". - М. 1988), 152

Что за наследство? (В. Кормер "Наследство". - "Посев", Ф/М 1987), 154

**А. Гармин**

Боцман велел не плевать за борт (Виктор Конецкий "Непутевые заметки". - М. 1988), 153

**Г. Н. Горчаков**

Заметки при чтении (Анатолий Жигулин "Черные камни", автобиографическая повесть. - М. 1988), 154

**В. Голицын**

Возможен ли крах советской системы? ("The Soviet Union and the Challenge of the Future. Edited by A. Shtromas & M. Kaplan. - N.Y. 1988), 151

**Е. Дубровина**

"Я чужбинную ноту пою..." (Валентина Синкевич "Здесь я живу". - Филадельфия, 1988), 152

**Виталий Евдокимов**

Обновление ума (О независимом журнале христианской культуры "Выбор". Ред. В. Аксютц и Г. Анищенко. Москва), 154

**С. Калиновский**

Не подводя итогов (В. Войнович "Шапка". - Лондон 1988; И. Меттер "Пятый угол". - Ленинград 1989), 153

**В. Капианидзе**

Советская сатира. Что это?, 153

**Юрий Колкер**

Книга, нужная многим (В. Казак "Энцик-

лопедический словарь русской литературы с 1917 года. - Лондон 1988), 154

Ю. Кублановский

Об истоках идеологической графомании ("В Политехническом "Вечер новой поэзии". Стихи участников поэтических вечеров в Политехническом музее 1917-1923. Статьи, манифесты, воспоминания". - М. 1988), 151

Николай Петро

Социализм и его альтернативы ("Иного не дано. Перестройка: гласность, демократия, социализм". - М. 1988), 151

Валентина Синкевич

Русская судьба (Павел Жадан "Русская судьба". - "Посев-США", Нью-Йорк, 1989. Обл. художника В. Филимонова), 152

## ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ

СОЛОУХИН Владимир

Читая Ленина, 151

## ПУБЛИКАЦИИ

"Столпы отечества" о самиздате

(из независимого журнала "Меркурий" № 18, спецвыпуск. Ноябрь 1988. Изд. "Нива", Ленинград), 153



**Главный редактор  
Е. А. Брейтбарт-Самсонова**

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
D 6230 Frankfurt a. M. 80  
Тел. (069) 34 46 71

*Непринятые рукописи не возвращаются.*

---

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

## **ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»**

**к литературной молодежи, к писателям  
и поэтам, к деятелям культуры  
— ко всей российской интеллигенции**

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет вам возможность публиковать те ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти произведения могут быть в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Будет сделана попытка их публикации и на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться издательством.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу, так и через иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev-Verlag  
Flurscheideweg 15,  
D-6230 Frankfurt am Main 80**

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы помогаем российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик.

**За свободное Творчество! За свободную Россию!**

**Издательство «ПОСЕВ»**

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера:  
в издательстве — 60 н.м.  
через магазины — 70 н.м.

## ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

Стоимость подписки на 12 номеров:  
в издательстве — 72 н. м.  
через посредников — 84 н. м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:  
„ГРАНИ“ — 17.50 н. м., „ПОСЕВ“ — 7 н. м.

Расходы по пересылке за счет подписчика

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D- 6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 75500, Dresdner Bank, Frankfurt/Main  
или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.

ISSN 0017-3185